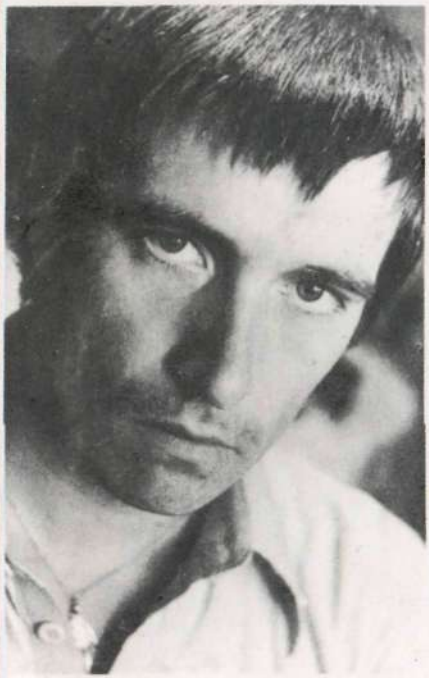
ВРЕМЯ И МЫ

77

1984

В ЭТОМ НОМЕРЕ: ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА ВЫЖИТЬ ● ЭССЕ О ШАХМАТНОЙ ЭЛИТЕ ● ОДИНОЧЕСТВО И СВОБОДА ● ЭСТАМПЫ ЮВАЛЯ МАЛЕРА



Саша Соколов **Палисандрия. Отрывок из романа**

Андрей Назаров **Песочный дом**

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ

Десятый год издания

Выходит один раз в два месяца

77
1984

НЬЮ-ИОРК — ИЕРУСАЛИМ — ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" — 1984

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД
МИХАИЛ КАЛИК
АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН
АСЯ КУНИК *(отв.секретарь)*
ИЛЬЯ ЛЕВКОВ
ЛЕВ НАВРОЗОВ
КАРЛ ПРОФФЕР
ИЛЬЯ СУСЛОВ
ДОРА ШТУРМАН *(зам.гл.редактора)*
ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЕФИМ ЭТКИНД

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения. Jerusa/em, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800 PUTEAUX FRANCE

Представители журнала:

Англия Александр Штромас
Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick,
Briqhouse W Yorkshire HQ6 3PZ ENGLAND

Западный Берлин Juscwa Mischijew
Hussiten Str. 60, 1000 Berlin 65

OCR и вычитка — Давид Титиевский, февраль 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Андрей НАЗАРОВ
Песочный дом 5

Саша СОКОЛОВ
Палисандрия 71

ПОЭЗИЯ

Евгений ДУБНОВ
Часть земли 109

Александр ОЧЕРЕТЯНСКИЙ
Сломанная ветвь 115

Роман БАР-ОР
День вразброд 120

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА

Лев ТИМОФЕЕВ
Последняя надежда выжить 127

Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ
Философия еврейской аномалии 143

Владимир ШЛЯПЕНТОХ
Здесь и там 159

Борис ХАЗАНОВ
Зинаида Шаховская о либералах 177

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Леонид ШАМКОВИЧ
Эссе о шахматной элите 183

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Георгий АДАМОВИЧ
Одиночество и свобода 205

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Искусство Юваля Малера 242

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

©"Время и Мы"

ISSN 0737-7061

Андрей НАЗАРОВ

ПЕСОЧНЫЙ ДОМ

"Сойдем же, и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого".
Бытие, XI, 7

В августе 1941 года во время вечерней бомбардировки Москвы в шестиэтажный дом за Белорусским вокзалом упала тяжелая фугасная бомба. Дом был коммунальный с обширными кухнями и коридорами, утопленными внутри квартир. Возводили его в двадцатые годы, когда идеи коммуны доминировали в воображении строителей нового мира. Со временем привлекательность их померкла в копоти общественных примусов, и единообразие квартир оказалось грубо нарушенным. Возникли частные кухни и кладовки, сдвоенные жилые комнаты, комнаты узкие в пол-окна или просто без окон и, наконец, индивидуальные квартиры — от двенадцатиметровых до двенадцатикомнатных.

Но исказив внутреннюю планировку дома превратно и непоследовательно, как само человеческое бытие, время ни-

Copyright Андрея Назарова
Роман печатается с сокращениями

как не повлияло на внешний облик дома. Он располагался на возвышении массивной буквой "П", концами спускавшейся к шоссе и огражденной от тротуара чугунным частоколом. Внутри лежала прямоугольная насыпь, взятая в кирпичный парапет — две горизонтальные площадки, имевшие полутораметровый перепад высоты. Верхняя короткая часть насыпи служила детской площадкой с песочницами и каруселью, а на нижней были разбиты клумбы с анютиными глазками.

К тому времени, как бомба оторвалась от самолета, песочницы были выскоблены до грунта, клумбы вытоптаны, а карусельный круг намертво заклинен. Посреди двора бился под ветром брезентовый чехол, туго растянутый на кольях с какой-то неясной и пугающей целью.

Нарастающий свист бомбы первыми уловили мальчишки, дежурившие на крыше, и Алеша Исаев успел крикнуть: "Прямое!", когда у основания левого крыла лопнул жестяной скат.

* * *

Подобрав ключи к пустующей квартире пятого этажа, Сахан подкрался к пролому и прислушался. Потом сунул в рваную дыру обрывок кабеля, свисавший из развороченной перегородки и спустился по нему, оказавшись на груде извести. В стороне черным сгустком выделялась выпотрошенная бомба. Сахан шагнул к ней, присел на корточки и по запястья запустил руки в сыпучую массу, растекавшуюся возле устья. Вытянув пригоршни песка, он просеял его сквозь пальцы, тщательно вслушиваясь в сухой шелест. И еще раз. И еще.

На рассвете на него наткнулся заспанный пожилой охранник.

— Ты как здесь? — спросил он. — Живешь, что ли?

Сахан поднял на него отсутствующий взгляд и не ответил.

— Дивишься, — решил охранник, пнув бомбу сапогом. — Ну дивись. Увезем скоро. Бывает. Песок, правда, редко, чаще детонаторы портят. Есть люди.

Сахан снова промолчал. Охранник вгляделся в бескровное лицо подростка с неестественно взрослыми чертами и, растерявшись, полез за папиросами.

— Таперь как-то реже, — продолжал он, примеряясь к мятой пачке, — а поначалу часто не взрывались.

— Шлепают их, поди, вот и реже, — произнес Сахан и хриплым смешком прочистил горло.

— Так за тебя же, дура, — уродуя пачку ответил охранник. — За тебя и шлепают.

Сахан поднялся на затекшие ноги, стряхнул с ладоней песок и шагнул к выбитой двери. В проеме он обернулся и еще раз взглянул на бомбу, определившуюся на свету хищной обтекаемостью линий.

— Как же, за меня. Держи карман шире, — сказал Сахан. — Много для меня чего делали, чтобы теперь в бомбы фуфло сыпать.

Он спустился к дворницкой, достал связку ключей и вытряс из кармана песок. Отворив дверь, наощупь отвернул кран и долго держал руки под холодной струей, избавляясь от зуда в ладонях.

* * *

Тем же утром бомбу увезли на переплавку, а пролом в крыше заложили до времени обрывками ржавой жести. В очередях у ближайших распределителей дом окрестили "Песочным", и скоро слух об удивительной бомбе забылся за тревогами подступающего фронта.

* * *

Единственным, кто не поверил в бомбу, был глухой старик Данауров, в чью комнату она упала. Он не был у сестры, как полагали, а мирно спал в глубоком кожаном кресле, задвинутом в конец коридора к теплой стене с дымоходом, благодаря чему остался незамеченным саперами. Рухнувшая бомба сильно встряхнула его. Данауров открыл глаз, потрогал деревянный предмет, попавший на колени, чихнул от поднявшейся пыли и с тем снова уснул.

Утром, когда взволнованная сестра написала на оберточной бумаге: "К тебе упала бомба" и широко раскрыла руки, демонстрируя ее размеры, он тонко улыбнулся и вручил се-

стре предмет, оказавшийся паркетницей. Потом вошел в свою комнату и осмотрелся: никакой бомбы, конечно, не было. Песок на полу и дыра в потолке легко объяснялись качеством соседей и потолков. "Бомба, — произнес Данауров, погружаясь во внутренний монолог. — Огромная. У меня в комнате. А я жив и разговариваю с этой хитрой старухой. Они ломают мой потолок и кормят меня сухарем, чтобы доказать, что идет война с немцами, которая четверть века, как кончилась. Все у них от обмана — и бомбы, и потолки, и сухари, и войны. И как им не скучно?"

О Данаурове ходила история, утверждавшая, что в прошлом веке он был молод и не только слышал, но, вопреки своей профессии, верил услышанному. Данауров был адвокатом. Доверяя чистоте рук и помыслов страждущих подопечных, он брался за самые безнадежные дела, всегда их проигрывал, и считался адвокатом десятой руки.

Но однажды в его карьере произошел решительный сдвиг. От отца своего, выходца с Северного Кавказа, Данауров унаследовал несколько черкесских слов и непреодолимое восхищение газырями. Это обстоятельство оказалось решающим для богатого черкеса, подыскивающего московского адвоката своему брату, обвиненному в предумышленном убийстве соседа. Данауров, плененный газырями, усиками и невиновностью брата, взялся вести дело и уехал на родину предков. Там он уличил следствие в промахах и предвзятости, добился нового расследования и выиграл процесс. Оболганный черкесский брат сверкал честным глазом и хотел побрататься. Данауров от братанья с подзащитным решительно отказался, но уехал с ликующим сердцем. Процесс попал в газеты и создал Данаурову репутацию рыцаря справедливости. Практика его несколько выросла, что соответствовало либеральному идеализму времени. Данауров трудился.

Шло время.

Война 14-го года. Февральский переворот. Отречение. Октябрьская революция. Гражданская война. Безработица. Разруха. Голод. Инфляция. Нэп. 1923 год. Стук в дверь. Черкес. Брат. Газыри. Честный глаз. Баран.

— Совсем плохой человек новый сосед. Поверишь, по-старому плачем. Скажи, дорогой, сколько ты теперь за убийство берешь?

Обморок.

Данауров очнулся из него совсем другим Данауровым, а именно тем, что зимой и летом сидел у шестого подъезда Песочного дома, постукивал палкой, о которую спотыкались прохожие, и сосредоточенно ничему не верил. А история его обмана — ходкая монета Песочного дома — со временем потускнела, вышла из обихода и попала на свалку, в бесформенную груду довоенного хлама, где была найдена братьями-Сопелками, сточена до золотого блеска и спрятана в кладе у кирпичного забора.

* * *

Машенька посмотрела вниз и прижалась к стене, потрясенная, как ударом, силой открытого отчаяния толпы, запрудившей шоссе.

Москва бежала, и отсюда, с высоты каменных ступеней полукруглого крыльца, Машеньке открылось это бегство по единственно свободной от немцев артерии — старому пути на Восток, каторжной Владимирке, дороге русских энтузиастов, утоптанной кандальными ногами. Этот открытый путь страдания нес на себе уже утратившую порядок, сбившуюся, зловеще вспененную толпу, сквозь которую прокладывали путь автомобили, велосипеды и неожиданным татарским обилием хлынувшие обозы.

Машенька глядела вниз, непонятным усилием выхватывая из неразлитного течения безымянной плоти кепки, башлыки, платки, кроличьи береты, ушанки, шляпы и задранные лошадиные морды в инее и храпе.

— Всеобщая эвакуация, — крикнула женщина и потянула Машеньку за рукав. — Москву отдают!

И тут же позабыв про Машеньку, соскользнула в человеческую реку, несущуюся под улюлюканье клаксонов, ржанье лошадей, скрежет полозьев по асфальту и вопли сорванных голосов, старавшихся отыскать друг друга и обещавших встречу в Рузаевке.

Освобожденная от страха за Авдейку, Машенька с отстраненным интересом приглядывалась к людскому потоку. Рослые и скорые мужики прокладывали себе путь, определяя стержень движения и тесня на обочины слабых. Толпа то растягивалась и редела, то сжималась, омывая внезапной преградой застопоривший грузовик, а затем гулко устремлялась вдаль, влекомая вековой привычкой к бедствию. Как вода через воду, текли под каменным крыльцом люди, как вода через воду — бесследные, нескончаемые.

Машенька смаргивала рябь в глазах и прикидывала, как миновать столпотворение, когда вибрирующий визг настиг ее, заставив присесть и зажать голову. Люди лезли в грузовик с высокими бортами, выбрасывая из него свиней. Визжащие мешки, набитые жиром и жизнью, свиньи с хлюпаньем шлепались о мостовую, бились в смертном ужасе, сшибая с ног людей и образуя единую ползущую массу.

Не помня себя, Машенька сорвалась с крыльца, ударилась в толпу, слепо и яростно проламывая путь, и уже за Тулинской, в виду маковок монастыря, была выброшена на груду солдатских ушанок, сваленных на мостовую. Неуверенно поднявшись, разгребая ногами шапки, Машенька прошла в пустоту переулка, придерживая руками оторванную полу и слизывая кровь с разбитого рта.

Безответные гудки доносились от свисавшей из выбитого окна телефонной трубки. Машенька опустила ее внутрь, и трубка беззвучно исчезла. Звук бегства таял, теряя свою причастность свиньям, машинам и людям.

Так она вышла к Курскому вокзалу и пересекла Садовую, по которой все в ту же сторону двигались люди и грузовики. Регулировщики, желтые милицейские мотоциклы и девушки в формах, ходившие по шесть в ряд по сторонам тупых колбас аэростатов, внезапно исчезли. Об окно брошенной конторы бились изнутри порхающие бумаги. Форточка была раскрыта, помещение продувало, и сорванные ветром карточки и бланки из раскрытых гнезд в стенах, поднимались смятенной снежной круговертью.

Людей, изредка встречавшихся в переулках, отличала неторопливая и скрытная повадка. Они держались стен и казались знакомыми между собой. Чувствовалось, что все для них решилось, и незримая грань уже отделила их от уходящих. Серые домотканые платки, валенки и овчинные полушубки сменили береты, ботинки, барсучьи шубы, воротники из чернобурых лис и "сталинских бычков" — кроликов, отчего город принял вневременной деревенский облик.

На Кировской Машенька почувствовала гарь, сгущавшуюся к центру города и испугалась пожара. Но пожара не было, хотя из окон ЗАГСов и заготконтор, жилотделов и родильных домов, трестов и Наркоматов валил дым. За окнами жгли архивы — секретные и открытые, заведомо бесполезные для врага — жгли по приказу и без, жгли из маниакального страха гласности, которым, как банду преступников, повязало государство своих подданных.

Переулок возле Лубянки был оцеплен, у подъездов НКВД стояли крытые машины, в которые загружали одинаковые дермантиновые мешки с бирками. Машенька остановилась, безотчетно пересчитывая мешки, но ее тут же подтолкнул в спину простуженный охранник.

— Гуляй, девка, гуляй...

— Гуляю, — ответила Машенька и обошла здание площадью.

Широкий проезд продувало ветром, навстречу текли все густеющие струи дыма, и колонны Большого уже едва проглядывали сквозь гарь.

Вытирая слезящиеся глаза, Машенька чуть не провалилась в узкий шурф, пробитый в тротуаре у стены Дома Союзов. В метрах от него она заметила следующее отверстие, окруженное валиком земли, и поняла, что бывшее Благородное собрание, пережившее французов и пожар 1812 года, уже подготовлено к взрыву. "Дом Благородных Союзов" — вспомнила Машенька шутку покойного отца и подумала, что эти благородные союзы уничтожат все и вся, спасая свою власть, набитую в дермантиновые мешки с бирками.

Из пепельной мглы, как из веков, выступили боярские хоромы, кремлевские стены, по зубцы залитые красным, и башни со звездами, убранными в защитные чехлы. Ветер гнал

листья по Александровскому саду, и, следя за их суматошной игрой, Машенька незаметно миновала Кремль и баженовское здание на косогоре. Внимание ее привлекли звуки, похожие на редкие аплодисменты. Она пошла на них и остановилась перед светло-серой глыбой Наркомата Обороны, в окнах которой хлопали на ветру форточки.

Она узнала окошко в первом этаже трехэтажного дома напротив высоких наркоматских дверей и поняла, что привело ее сюда. Здесь жила ее свекровь, мать Дмитрия, — легкая и молчаливая женщина в черном, какой она была последние годы. Ее переселили сюда из огромной квартиры после ареста мужа — Василия Савельича — бритоголового человека, похожего на борца Поддубного, занимавшего высокий пост.

Между стекол еще стоял синий хрустальный бокал на высокой ножке, куда зимой она насыпала соль, чтобы не замерзали окна. Машенька обтерла стекло рукой в рваной перчатке и припала к глянцевой прохладе лицом в горящих ссадинах. За синим бокалом лежали трещины некрашеных половиц и тени разорения по углам — все, что осталось от непонятной ей жизни, пахшей мятой, древесной пыльцой и легким холодом увядания.

Эта женщина погибла в конце июля, в третью бомбежку Москвы, когда с опозданием дали сирену, и люди бросились в спасительный шатер Арбатского метро, подхлестываемые близкими разрывами и ужасом дрожащего неба. Там, внизу, в спасительной глубине подземелья, обезумевшая толпа валилась со ступеней и слепо затаптывала в камень самое себя.

Дмитрий попал туда через час после отбоя и. перевернув десятки тел, на ощупь отыскал тело матери. Он принес его в эту комнату и ушел в ванную. Когда Машенька заглянула к нему, в пестрой от крови раковине лежали очки, вращая голубоватыми кольцами линз.

Сосредоточенный в своей боли, Дмитрий утратил мальчишескую неопределенность движений, так трогавшую Машеньку, и стал ощутимо похож на мать. Ночами он молча ласкал и мучал Машеньку, а на другое утро после похорон — по-военному деловитых, скорых — тщательно протер очки и отправился в военкомат отказываться от белого билета. Вышел не простясь, как за спичками, и уже не вернулся.

Машенька вспомнила, что сжатая кошачьим предчувствием горя, не могла ответить ему в те три невозвратные ночи и застонала в стекло, болезненно щекочущее губы. Потом подняла голову и прислушалась.

Отдаленное уханье разрывов осело на город влажной, едва уловимой волной. Машенька вздохнула и двинулась в обход метро, перебирая далекие воспоминания, как Авдейка свои нехитрые игрушки. Переулками, полными мира и листьев, она вышла к зданию Моссовета, где еще теплилась жизнь. Несколько машин стояло у подъездов, но улица Горького была пуста. Окна в темных громадах зданий были аккуратно заклеены крест на крест.

Машеньке почудилось чье-то присутствие, она вздрогнула и обернулась. Поднятая в рост безумием и ненавистью, глядела на нее с серой стены Родина-мать.

Машенька пересекла улицу и присела на мраморный борт фонтана, не сводя глаз с белых полос на окнах, перечеркивавших чужую, неизвестную жизнь.

Высокий черный дог мягко ткнулся ей в колени и выжидающе посмотрел янтарными глазами. Машенька поднялась, заметила других собак вокруг фонтана — брошенных хозяевами породистых собак — еще не сбившихся в стаю, еще замкнутых в запахи дома и ожидания.

В хламе и пепле, устилавших дно фонтана, теплым пятном мелькнула монета.

— Держись, собака, — сказала Машенька.

Дог шел за ней следом. На его исхудалой шее тонко позванивал металлический браслет. На углу Пушкинской он забежал вперед и сел, отрезая Машеньке путь, заглядывая в лицо янтарными глазами с ограненной тоской в зрачках. Машенька зажмурилась и побежала. Дог остался на месте и завыл, вытянув морду. Уже с другой стороны пустынной, продуваемой пеплом площади, Машенька увидела его неподвижный силуэт — отлитый образ крушения.

Аэростат, с первой надели войны висевший над памятником Пушкину, исчез. Стекла коммерческого магазина за кинотеатром оказались завалены изнутри мешками с песком; между ними были кое-как втиснуты банки икры и крабов "Снатка". За прилавком мерзла продавщица в ватнике, очевидно, ожидая покупателей икры и крабов. Минуя остановки, пронесся пустой троллейбус — из прежней жизни, враждебным напоминанием о ней.

Улица Горького была пуста, шелестели плакаты на стенах, вздувались в немом призыве, и отозваться им было некому.

Машенька шла понурившись, разглядывая попадавшие под ноги трещины тротуара — тонкие, извилистые, переплетенные — неясно напоминавшие детство, лето в тихом переулке и слона на асфальте, а потом подняла голову, вскрикнула и отшатнулась к стене, для чего-то защищая грудь. Перед ней на тротуаре стоял огромный автомобиль, сверкая никелем и оловянными пятнами, медленно плывшими по черному лаку.

"Немцы! — мелькнуло в сознании. — Немцы уже здесь. Немцы".

Дверца автомобиля щелкнула, лениво откинулась, и на заднем сиденье Машенька увидела женщину — кукольную головку, сильно очерченный рот на бесцветном лице и распахнутую шубку легкого меха. Оцепенев от ужаса, Машенька смотрела на эту невероятную женщину и была готова к самому страшному, когда та наконец заметила Машеньку, пошире откинула дверцу и опустила ногу на приступку автомобиля. Нога ее заголилась, обнажив тонкий чулок. Машенька ждала. Женщина рассматривала ее без всякого выражения, а потом внезапно и безудержно расхохоталась. Она пьяно покачивалась, и белокурые волосы ее сыпались на серебристый мех, делая похожей на киноактрису. Подзадоривая себя, она указывала на Машеньку пальцем и высовывала язык, а платье ее задиралось все выше и непристойнее. Машенька начала понимать свою унизительную ошибку, когда мимо нее прошагал рослый мужчина в кожанке и галифе с кантом. Он молча забросил вглубь свисавшую из автомобиля ногу, захлопнул дверцу и, мельком взглянув на Машеньку, сел за руль. Автомобиль мягко сполз с тротуара и помчался к центру.

Машенька плакала от стыда, развозя перчатками слезы, а потом вышла на пустынную улицу, плюнула вслед автомобилю и неожиданно выругалась. Холодно удивившись тому, что знает такие слова, она повторила площадное ругательство и пошла своим путем.

У Белорусской ей открылась пустая привокзальная площадь. Машенька впервые увидела ее целиком, незаштрихованную движением, и поразилась совершенству и пустынной красоте ансамбля вогнутых бледно-зеленых башень. Упавшие стрелки часов свисали к цифре "6". Она не сразу заметила, что часы безнадежно стоят, и долго старалась понять это невозможное время, а потом, поднимаясь на мост, решила, что время, и вправду, кончилось, а начнется ли вновь — не знала, не хотела знать.

Над мостом свирепо и освобожденно дул ветер. Поднятые в лет цветные лоскутья, обломки ветвей, клочья бумаг, пакля, листья и пепельная мгла — все, что оставляет по себе остывшая жизнь огня, людей и деревьев, — медленно опускались под мост.

* * *

Сыпучие струи снега ползли по мерзлому грунту, и по-детски отбивались от ветра саженцы тополей по краям насыпи. Протяжно голосила канонада.

Вот и хорошо, — сказал Алеша Исаев, прислушиваясь. — А то вчера не стреляли, так страшно. И за керосином никого не было.

— Сводку слышал? — спросил Кащей.

— Слышал, да не поймешь у них ничего. Все про "Х" бормочут — то ли взяли его, то ли отдали.

— "Ха-ха" — не "хо-хо", а населенный пункт Химки, — заметил Сахан. Когда немцы займут — узнаем. Комендант этих Химок у нас в пятом подъезде живет, толстый такой дядька.

— Ты, Сахан, сгоняй по рынкам, — распорядился Кащей. — Порастряси там торгашей — эти оглоеды все знают.

— Сам сгоняешь! — огрызнулся Сахан.

Кащей вздрогнул, но сдержался, только кулаки подобрал.

— Отец говорил, на днях осадное положение объявят, — сказал Лерка.

— А сейчас разве не осадное? — спросил Алеша.

— Осадное! — Сахан хмыкнул. — Вот, когда все пути отсюда перекроют, да комендантский час введут и нарушителей начнут на месте шлепать — тогда узнаешь, какое это осадное.

— А верняк? Про осадное — верняк? — спросил Кащей, делая тяжелый шаг к Лерке по дощатому настилу карусельного круга.

— Правда, — твердо ответил Лерка, подняв светлые глаза, опушенные густыми женственными ресницами. — Верняк.

— А пока беги себе, — продолжал Сахан, ни к кому не обращаясь. — По шоссе Энтузиастов. Скатертью дорога.

— Будет свистеть, — произнес Кащей и сплюнул. — Как стемнеет, просочусь по Волоколамке, пошукаю, где там фронт. А ты, Сахан, по рынкам все же сгоняешь. Проверю.

Сахан дернулся, яростно пнул ногой землю — и карусель под ними неожиданно дрогнула, отозвалась железным вздохом.

— Крутится! — удивленно воскликнул Лерка и, спрыгнув на землю, грудью налег на ослика.

— Вперед! — подхватил Алеша и, отведя ободранную руку, потащил свою лошадку за пятнистую шею.

Скептически улыбаясь, Кащей взялся за железную стойку и пошел по кругу, все легче и легче преодолевая ржавое сопротивление.

"А дурак Кащей, — думал Сахан, балансируя на карусельном кругу. — Сидел всю жизнь за своими бандюгами — умным казался, а как один — так и дурак. "Оглоедов порастряси!" — можно подумать, знают они много. Лерка — вот за кем глядеть надо! Пока Лерка здесь — и за себя бояться нечего. Уж его-то папашу — с ромбами, да из штаба РККА — никак немцам не оставят. Не напрасно, выходит, я его добивался сегодня — ведь и в ум не брал. Теперь-то не упущу, в оба-два досматривать стану. А Кащей... на глотку брать горазд, а того не поймет, что кончилось его время. Отца с Митяем в армию гробанули, другие братья сидят, а по такой войне и им дальше фронта не выбраться. Порешат их, как пить дать, порешат. А без них он — что? Плюнуть да растереть".

Карусель застопорилась разом — забилась, зашлась скрежетом — и стала. Парни постояли возле нее молча и разошлись, не глядя друг на друга.

"...ПРИТЧА О ПУСТЫННИКЕ, ЗАПИСАННАЯ В ТРЕТЬЕМ ВЕКЕ ОТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА"

В постах, молитвах и иссушении плоти проводил пустынник долгие годы и прославился святостью своей, и сам владыка приходил исповедовать его и укреплять в вере. Но однажды поведали пустыннику братья во Христе о неправедной жизни владыки и смутили сердце его. Еще истовее принялся он молиться и суровее наложил пост, дабы забыться в телесных муках и не помнить о назначенном дне, когда явится к нему владыка. Но срок настал. На рассвете забылся пустынник в тревожной дреме, и Господь послал ему брести во сне бескрайними песками и изнывать от жажды. Палило солнце, увязали ноги и горела душа от нестерпимого жара, и не умещался в деснах распухший язык. Блеск заливал глаза, стеклянный блеск безумия, но и на пороге его не дал Господь пустыннику выйти из страшного сна, но явил человека, протянувшего чашу с водой. Она была белой персидской глины, эта чаша, и радуга влаги светилась в ней, и пальцы подающего лежали на белой персидской глине. Пустынник на коленях дополз до посланца с живительной влагой и возблагодарил Господа и неверным движением потянулся к воде, но тут же и отпрянул. Черной и розовой была рука, подающая влагу, черной и розовой, и обглоданной проказой. И сам посланник был до костей съеден ею, и лицо его было сочащейся розовой маской. И вскрикнул пустынник во весь свой безмолвный, забитый языком рот, и миг этот пошатнул его в вере. Но капли влаги дрожали на белой персидской глине, и, зажмурившись, взял пустынник чашу из рук прокаженного и приник к ней, и проснулся, и принял от владыки слово Божье.

* * *

Кубики были древесными отпилками, окрашенными кровельным серебром. Когда-то их грубые срезы проложили первые определительные линии в Авдейкином мире — грани света в скольжении теней. Они внушали пугающий восторг власти, и Авдейка смеялся, разбрасывая ребристую твердь. Но мир, разрушенный в предметы, вызывал внезапную муку, стремление вернуть ему изначальную цельность. И в первые шаги поднял Авдейку смутный страх, внушенный разобщенными частями, утратившими образ и связь. Этим страхом и началась для него собственно жизнь — память о жизни.

Ею выделился из небытия закатный свет за ширмой, где молча умирала бабуся, его мамы Машеньки мать, ее взгляд на картину, по серому насту которой — из печали в печаль — уходила и не могла уйти несоразмерно рыжая лиса. Еще белый медведь, припавший к стене могучим белым объятием, и вещи, хранившие память о мужчинах, живших до него — китель без пуговиц, раскрывающееся лезвие, кривое и ржавое, и восхитительный штык под кроватью, погибшего дедушки, папиного папы, героя гражданской войны, красного командира на красном коне. Было пленительное ощущение его острия и ложбинок, утопленных в гранях, по которым должна стекать безымянная кровь, и невнятная гордость тайной наследственной причастности мужскому труду убийства.

Другие вещи рисовались смутно, как марлей отделенные забвением. Кажется, был стол, который умел ходить на львиных лапах. Вначале он отошел к стене, а потом и вовсе ушел. Растаяли льдинки, висевшие на потолке, обнажив прекрасную желтую лампочку, от которой графин из синего стал желтым. Исчез тяжелый черный буфет, и в комнате стало просторно. Задвинутое им в угол, ожило старинное красное кресло с весело закручивающимися пружинами.

В кресле сидел папин друг, оставленный с отрядом минеров, чтобы взорвать Тушинский аэродром, когда немцы войдут в Москву. Все его знакомые эвакуировались, поэтому он приходил к Машеньке, делился пайком и рассказывал, прикрывая рот ладонью:

— Хозяин улетел шестнадцатого, вот и сорвалась пружина, и побежали, как скот. Его на рассвете Яша Моисеев поднял с двадцать второго завода. Ты Яшу помнишь, мы с ним были у вас. Вот с Филевского поля он его и взял — на Куйбышев. А к двадцатому вернулся Хозяин, тогда уже осадное ввели и Москву закрыли. Что с ним случилось, не пойму: фронт в те числа держался, немцы от Москвы дальше были, чем теперь. Нервы видно... Во как повязано — у него рука дрогнула, а в народе хаосом отдалось...

* * *

Когда немцев прогнали от Москвы, минер уехал, а кресло, в котором он сидел, занял дядя Петя-солдат. Кресло заскрипело под ним всеми пружинами, и дядя Петя назвал его "ампир". Он был плотный и белый — этот солдат с орденами на вылинявшей гимнастерке — и такими же плотными и белыми были обрубки рук, лежащие на его коленях, а палец, одиноко торчавший в одном из них, был черен и тонок. Солдат сидел неподвижно, и только палец его дрожал.

Дядя Петя-солдат был одним из сорока сироток, подобранных бабусей — тогда еще не бабусей, а Софьей Сергеевной, — в гражданскую войну. Они плели лапти из веревок и ходили по деревням, где меняли их на хлеб и ночлег. Так они и спасались до двадцать второго года, когда сироток организовали в показательный детдом "Завоевания Октября", откуда бабуся с Машенькой были изгнаны как чуждые элементы. Из детдома дядя Петя-солдат ушел на финскую войну, а потом воевал под Москвой, где и потерял свои пальцы. Просидев целый день в кресле, дядя Петя-солдат устал и на другое утро начал налаживать буржуйку.

В первую военную зиму дом согревали кипятком. Целыми днями на плите стоял бак с водой, к вечеру он закипал, и им по очереди обносили комнаты. С бака срывались белые шапки пара, они заполняли квартиру и покрывали стекла толстым слоем изморози. В нее вмерзали медные монетки, на которые ничего нельзя было купить. В оттепель монетки падали на мраморный подоконник, прыгали и веселились, как дети.

Приложив ухо к стене, дядя Петя-солдат долго простукивал ее молотком, а потом нарисовал круг и стал пробиваться через него к дымоходу. Он привязал шлямбур к левой культяпке, а молоток к культяпке с пальцем и начал бить в стену, поправляя инструменты после каждого удара, пока и шлямбур и молоток не вылетали из размотавшейся перевязи. Вскоре то, что служило ему руками, покрылось окровавленными бинтами и тряпками, а он все бил и бил в неподатливую стену, и Авдейка подавал ему падающие инструменты. Под хруст кирпичных осколков и лязганье инструментов проходила нетопленная осень. Рваная кирпичная рана зияла в стене, дышал в шерстяной шарф Авдейка, закусывал губы, чтобы не замычать от боли, дядя Петя-солдат, и стонало под ним кресло ампир.

В середине декабря шлямбур прощально звякнул и провалился в дымоход, а к новому году буржуйка весело топилась дровами с рынка и углем, которым из-под руки приторговывал истопник Феденька.

Как только зажил сиротливый палец, дядя Петя-солдат зажал им карандаш и принялся рисовать на непростой бумаге — белой, сделанной не из газеты и не из селедочной обертки распределителя. Долгое время по листам разбегались дрожащие линии, заставлявшие солдата бледнеть и стирать испарину со лба, но понемногу карандаш осмелел, обрел ловкость и одним махом набрасывал фигуры, чудесным образом оживавшие на бумаге.

Дядя Петя-солдат рисовал крупные старческие черты бабусиного лица, медведя на стене, лисицу возле замерзшей реки, Машеньку и Авдейку — легкой фигуркой со штыком — в беге, почти в полете. Он придал Авдейкиному движению неопределенную легкость, что-то от бабочки в полете, от неверного и стремительного дуновения.

К весне линии дяди Пети-солдата исполнились той чистоты, с какой снились ему еще до потери пальцев. Но сам он все больше мрачнел и перестал рисовать для Авдейки танки, самолеты и всадников с шашками наголо. Он надолго закрывал глаза и сидел неподвижно, забывая про еду, а очнувшись, рисовал так яростно, словно истреблял увиденное. Тогда на бумаге возникало сильно очерченное мужское лицо, глядя в которое Авдейка замирал от ужаса. Слегка намеченное на ранних рисунках в потоке удрученных, землистых, проклинающих лиц, составлявших память дяди Пети-солдата, все явственней проступало оно на листе белой бумаги, как на переводной картинке небытия, возрастая во весь сосредоточенный в нем непосильный смысл.

На последнем рисунке это лицо заняло весь лист, дядя Петя перевернул его и больше уже не рисовал. Фанерка, карандаши и непростая бумага исчезли так же внезапно, как появились.

Война дяди Пети кончилась, он забыл о себе, этот солдат с белыми обрубками, и больше не открывал глаз, всматривавшихся во что-то видное ему одному. Он по-прежнему не вылезал из-за стола, и страшно было его неподвижное и слепое сидение, и жизнь не двинулась бы никуда с кресла ампир, если бы вместо орденов, которые он начал продавать соседу, не проступали бы на выцветшей гимнастерке темные меты времени.

Ордена дяди Пети-солдата кончились, и с ними кончилось его время. И он исчез.

* * *

Во взрослом кино все было, как до войны — песни и танцы. Красивая балерина мечтала уехать в далекую деревню учить колхозников балету, потому что они очень любят танцевать, но не умеют. Однако научиться балету колхозникам не пришлось, потому что кино про счастливую жизнь порвалось на середине. Вместо нее показывали хронику про войну. Проскакала конница с опущенными долу шашками, пролетели самолеты и земля от взрывов поднялась, черной волной захлестнув зал. Авдейка закрылся рукавом, пережидая взрыв, а потом увидел танки, которые шли по снегу и стреляли, будто сплевывали огонь. Солдаты копали окопы, с кукольной быстротой выбрасывая землю.

Вдруг на экран выскочил немец с перекошенным лицом, отвернулся и помчался прочь, но споткнулся о пули и с раз-

маха нырнул головой в сугроб так, что торчали только его ноги в белых обмотках поверх сапог. Но тут что-то случилось, экран погас, закричали "халтурщик" и заерзал сосед дядя Коля-электрик.

Потом зажглось, заскрипело, и мир повернулся вспять. Неподвижные ноги в обмотках страшно двинулись, вытаскивая из сугроба немца, и он побежал спиной вперед, туда, где был жив, а пули из него вылетели назад в красноармейца. Авдейка не утерпел и вскрикнул в голос, но тут опять погасло, зажглось, и немец, проделав тот же путь, встретил свои пули и успокоился в сугробе, по-видимому, навсегда.

После хроники с немцем, снующим из жизни в смерть, стали показывать цирк, где по кругу ходили на задних ногах лошади в косыночках, беспорядочно подпрыгивали гимнасты и падал клоун с приклеенной улыбкой. Потом появился жонглер, неумолимо-точными движениями белых рук подбрасывающий шары. Медленно померк свет, и на темном фоне купола возник светящийся эллипс неуловимо вращающихся шаров. Авдейка напрягся, затаил дыхание, боясь сбить налаженное движение фосфоресцирующих рук — и летели, летели, летели шары, пульсировал и светился бесконечный эллипс.

В зале зажегся свет, проведенный соседом-электриком, все собрались уходить, но тут пустили учебную ленту про Вселенную. Разнесенная вдребезги каким-то страшным крушением, она наполнила экран светящимися шарами звезд, бесконечно давно потерявшими друг друга. Вокруг каждой звезды вертелись совсем незначительные шарики, один из которых называли Землей, что было странно и грустно. Эти неисчислимые шары разлетались в разные стороны и гасли, пропадая за экраном. Вселенная была темная и похожая на цирк.

* * *

— Червяк! Я червяка поймал! — закричал Болонка.

Это был толстый красный червяк, убегать он не собирался, только сжимался и растягивался на месте.

На крик подошел барабанщик Сахан, странно торчавший из одежды. Руки его, белые и чистые, высовывались из рукавов куртки едва ли не по локоть, а короткие штанины обнажали белые полоски кожи над ботинками. Лицо его от работы побелело и презрительно сузилось. Опершись о лопату, он скосил взгляд на червяка и спросил:

— Варить станешь, или как?

— Жарить! — неожиданно ответил Болонка. — В Сибири все червяков жарят, я видел.

— Ну, ну, — одобрительно произнес Сахан и нашарил в кармане спички.

Он протянул было коробок Болонке, потом раздумал, сгреб ногой мусор, и одной спичкой поджег холмик из обломанных прутьев, бумаг и листьев.

В это время во дворе показались братья Сопелкины. Они играли в очередь за хлебом и поэтому передвигались гуськом, обхватив друг друга и медленно раскачиваясь. Последним выскочил из подворотни Сопелка-игрок, катящий перед собой тяжелую монету.

— Эй, Сопелки, идите глядеть, как эвакуашка червяков жрет! — позвал Сахан.

Катившаяся по асфальту монета брызнула золотом и погасла, очередь за хлебом распалась, и Сопелки сгрудились вокруг костра. Были они конопаты, рыжи и столь неотличимы друг от друга, что число их оставалось неизвестным всем, кроме матери, которую оно приводило в отчаяние.

Червяка жарили на осколке толстого стекла, придерживая ржавой железкой. Было тихо, червяк дергался, а потом затих, сморщился, и стекло под ним потемнело.

— Готов! — объявил Сахан.

Болонка смотрел на червяка и усиленно моргал. Глаза его заволакивало слезами, и червяки в них множились.

— Слабо? — спросил любознательный Сопелка.

Болонка капнул на червяка слезой, и тот зашипел.

— Давай пополам, — предложил Авдейка и быстро откусил хрустнувшую половину. Червяк напоминал пережаренную свиную шкварку.

Убедившись, что Авдейка жив, Болонка внимательно прожевал оставшееся от червяка и повеселел.

— Я же говорил — ничего особенного, — заметил он. — В Сибири все едят, их там много. Давай еще, сколько есть.

Сопелки разбежались копать червяков, а Сахан поддерживал огонь. Болонка жевал.

— А что, Сопелки, помажем на вашу битку, что эвакуашка десяти не осилит? — предложил Сахан.

— На эту? — спросил Сопелка-игрок.

Он вынул из кармана сточенную монету, плеснувшую солнечным жаром, подышал на нее и сунул обратно.

— Не можем, — ответил он. — Заграничная монета, такой не достать.

— Какая заграничная, когда там русские цифры стояли, — возразил любознательный Сопелка. — Один, десять, два, три — я помню.

Сахан усмехнулся.

— Наша или чужая, а мы ею хлеб у Лесгафтовских выигрываем. И ставить не будем.

— Тогда по трояку скиньтесь. Вас тут теперь... — Сахан с некоторым затруднением пересчитал Сопелок, — семеро. Итого двадцать один набегает, очко. Съест — тут же отстегиваю, тепленькими. Идет?

— Денег нету. Тебе же и проиграли, — мрачно ответил Сопелка-игрок. В долг если...

Сахан согласился, и Авдейка разбил руки. Болонка сосредоточенно жевал. Сахан глядел ему в рот и считал червяков, а Сопелки держались за черенок лопаты и не дышали.

Музыка, доносившаяся из растворенного окна, наполняла двор движением волнообразной стихии, из которой выделилась почти нестерпимая в своей хрупкости волна, вздымавшаяся над потревоженным пространством и рухнувшая, наконец. Авдейка вздрогнул и огляделся. Бледные языки пламени тонули в солнечном свете, и костер угадывался только по нитям дыма над корчащимися червяками.

На восьмом червяке Болонка сломался.

* * *

Вскоре после неудавшегося побега на фронт Лерка играл программу пропущенного смотра. Он исполнял концерт Мендельсона, стараясь копировать манеру профессора, а потом неожиданно взял несколько виртуозных пассажей из "Бравурных этюдов" Листа, но сорвался и бросил.

— Что с тобой? — испуганно спросила мать.

— Ничего. Не буду я больше играть. Я не стану пианистом.

Тут он увидел профессора, его внезапно зашевелившееся лицо с соринками в морщинах, и руки, оглаживающие потертый концертный фрак. "Он никогда не садится во весь урок, — понял Лерка. — Все семь лет".

— Простите. Я не то имел в виду... То есть то, но.... — Лерка прислушался к себе и тронул клавиши. — Это про монеты. Послушайте. Они в кармане мальчишки... Две монеты в пустом кармане. А вот они расстались — это кассирша бросила их в разные отделения... слышите, как им тесно там... а теперь они потекли в мешок — медь и никель раздельно — и снова — уже не в мешок — в хранилище... а это идет вор... чувствуете походку? А вот он набивает карманы. Теперь он уходит, нагруженный, и монеты прыгают... нет, тяжело прыгают, вот в этой тональности. Вор побежал, погоня... Он выбрасывает их! Люди сгребают их ладонями... а вот две монетки укатились. Это они, узнаете? Они снова вместе... А вот и мальчишка! — Лерка закрыл рояль и хмуро закончил, — конец. Он их в разные карманы положил.

* * *

Замкнутый в своей пустынной свободе, лишенный противодействия действительности, которое одно только и есть жизнь, Лерка отдался во власть неистребимого воображения. Детские мечты о кораблях, океанских просторах и неведомых островах, вызванные рисунком висевшего над кроватью старинного гобелена, с неожиданной силой ожили в нем. На гобелене была изображена Венецианская гавань, наливающаяся трепетом утра. Еще темнели облака, влажные тени лежали в парусах, но за городскими башнями и дремлющими шхунами уже угадывалось безмерное пространство света.

Лерка присаживался к роялю и подбирал мелодии к владевшим им образам, причудливо соединяя их и не доигры-

вая до конца. В том, что он играл, чудилась ему изумрудная тяжесть вздымавшихся волн, нити воды, падавшие с натруженных крыл альбатросов и воздушный корабль, навсегда потрясший русское воображение. То венецианским матросом в куртке с широким поясом, то корсаром или конкистадором он бороздил океаны на торговых шхунах, яхтах, военных бригантинах и знаменитой каравелле "Санта-Мария", корабле Колумба. Ее модель — подарок адмирала — стояла в гостиной, окутанная волшебной паутиной стеклянных канатов. Сам адмирал внезапно и окончательно исчез, а каравелла продолжала бесстрашный путь к неведомой земле. Вздувались хрустальные паруса, трепетали ванты, и опускалась в пенистые волны высокая корма каравеллы.

Географическая карта на стене Леркиного кабинета была испещрена маршрутами русских путешественников, испанских конкистадоров и британских торговцев. Он изучал книги с описаниями далеких стран и на карте, приколотой к письменному столу, прокладывал маршруты своих воображаемых походов.

С несоразмерной силой поразили его отрывочные сведения о плавающих островах, почерпнутые из путевых заметок и вахтенных журналов. Эти легендарные острова — порождение миражей и обманутых ожиданий — рисовались ему во всем тропическом многообразии истины.

* * *

Случайно выглянув на раскатистый смех, Лерка поморщился, увидев Степку, сестру Сахана, и хотел было задернуть штору, но что-то в ее смехе остановило его. Со смутным чувством смотрел он, как Степка опустилась в траву, как сбился ее черный халат и засучили белые ноги. Не отрывая глаз, Лерка нашарил на столе бинокль и подстроил резкость. Женские ноги, раскинувшиеся в слабой траве открылись ему с помрачающей ясностью — до головокружения, до ободков угольной пыли над голенищами грубых сапог. Они бессмысленно и призывно елозили, сгибаясь в коленях, и тень между ними таяла, отступая вверх. Лерка сглатывал слюну и задыхался.

Скоро над Степкой возникла узкая спина истопника Феденьки в выцветшей гимнастерке, и распростертое в траве оголенное тело потянулось ему навстречу. Феденька по-хозяйски обхватил его, но не удержался на ногах и рухнул.

Лерка не выдержал, испугался болезненного напряжения и негнущимися ногами отошел от окна. Повалившись в кресло, он старался понять, что с ним произошло, и чувствовал, что мир его грубо и окончательно развеян. Взгляд его беспомощно скользнул по партитуре "Ивана Сусанина", а потом остановился на географической карте, и Лерка едва не вскрикнул, с такой ясностью почудилась раскинувшаяся во всю ее ширину обильная и бессмысленная Степка, сучившая по планете заголившимися ногами.

* * *

Бабуся вспоминала печальный вечер 38-го года, когда удлиненная горем жена Василия Савельевича рассказывала ей о начале своей жизни с мужем. Его взяли накануне, и гостинная, затаившаяся в полумраке, была страшна своей роскошью и следами недавнего разорения. В одеревенелом рте этой женщины еще угадывалась резная капризная стать и, вглядываясь в него, бабуся плохо запомнила подробности соединившего их преступления. В рассказе упоминалась конюшня, недавно перестеленная солома, отголоски смутных страхов и ошеломляющий налет на усадьбу — свист, ругань, выстрелы — а потом огонь, которым все покрывается на Руси. Она шла на свет пылающей конюшни, эта барышня, полная тревоги и той смелости, которую внушает юная, уверенная в себе женственность, когда ее рванул на коня человек в распахнутом полушубке.

И двадцать лет спустя она помнила горячую грудь под овчиной, лицо в отблесках пламени и прямую, звериную красоту остановившихся на ней глаз. "Моя будешь, барышня! Ой, моя!", — услышала она, и ощущение решенной судьбы до сладкого обморока скрутило ей тело.

Час спустя уцелевшие дворовые затушили конюшню, выкатили баграми трупы, обугленные, как поленья, и среди них

по перстню отыскали ее отца. "А лошадей увели, — добавила эта невероятная женщина. — Он увел".

Проводив бабусю до порога, она обернулась к своей разоренной квартире и буднично заметила: "Теперь уже все покончено. И с ним..."

Рука ее с грацией подстрелянного животного обвела анфиладу комнат, а потом замерла, указывая на квартиру напротив. "А остюда год назад взяли, день в день обоих... и жену тоже, Липочку. По детству еще подругу, по имению..."

Бабуся ступила на красный ковер, хлынувший по лестнице, и отдернула ногу. "Прощайте, прощайте..." — повторяла она с тем же болезненным усилием губ, с каким в двадцать втором году перечитывала надпись над булочной на Волхонке: "Цареубийцам вне очереди!" — как на пятом году революции анонсировал ее смысл находчивый нэпман, впущенный в спящую историю через черный ход и наживавший свои скоротечные барыши.

Но поборницы свободы и равенства, что барышнями ушли из хороших семейств с падкими до них красными комиссарами, не стояли в хлебных очередях. Из пены опавших иллюзий проглянула реальность, обнаружив, что в хаосе братоубийства эти барышни выбрали победителей, влекомые не отвлеченными идеалами, но чутьем самок, не всегда осознанным, но всегда безошибочным. Достигнутые свободы осуществляли их бывшие гимназические подруги, сносившие в Торгсин уцелевшее серебро и навещавшие кладбище в Соловках, пока серебро не иссякло и кладбище не срыли.

"Но теперь и им отдалось, — думала бабуся, опасливо ступая по красному, и как же тяжело им, привыкшим брать без спросу и без очереди! Революция подвела итог миру их предков, а детям, предавшим родителей, бросила эти двадцать лет, как кость сманенной собаке.

"...ибо какою мерою меряете, такой и вам отмерено будет". Мера в руке Божьей, а суд его правит человек, плодя неизбывное преступление. И бесконечное возмездие идет по людским коленам, как рябь по воде".

В ужасе покинула бабуся обреченный дом и уже никогда в него не вернулась. Стояла осень. Напротив Моссовета бил

фонтан. Падали листья. Осенью, на 1938-ом году от Рождества Христова в Москве падали листья...

Пять лет спустя эта женщина приняла свой конец под ногами обезумевшей толпы, а сын ее погиб на фронте. В своих молитвах бабуся просила мира ее душе, но самой мысли о Василии Савельиче — хоть был он свекром ее дочери и дедом Авдейки — бежала, как искушения. То, что этот бритоголовый убийца сгинул, что в судьбе его отозвалось собственное зверство, смущало ее очевидной справедливостью совершенного над ним людского суда — преступления, воздавшего преступнику его же мерой.

Но теперь он вернулся. Он был жив, силен и стоял тяжелыми сапогами на осколках ампул — попранием добродетели и милосердия. Высыпавшиеся из пакетиков с надписями, таблетки стали неразличимы, и Авдейка играл ими в солдатиков на марше.

Перехватив бабусин взгляд, дед глуповато ухмыльнулся. — — Совсем, как люди, Софья Сергеевна, вытряхни из одежонки — и не разберешь, кто-где. Все беленькие да горькие — а?

И рассмеялся, раскашлялся до стона.

* * *

Случайная и совершенно бессмысленная фраза, прозвучавшая во дворе, на мгновение вернула домоуправа в годы первой молодости, когда были публично отвергнуты его любовные искания, и присутствующий при этом счастливый соперник — фат, каким ему и положено быть, — позволил себе сложную остроту насчет внешности Пиводелова, носящей следы унылой усмешки природы над некстати рассказанным немецким анекдотом.

Оскорбленный Пиводелов уединился тогда в тихой петербургской квартире, разбил все зеркала, отражавшие лицо с незначительными чертами, и впал в жесточайшую горячку. Он долго оправлялся от нее, жадно перечитывая исторические фолианты, оставшиеся от отца, где все было — холопство, насилие и неправый суд. В крови и темени своего прошлого отыскивали авторы свет русского мессианства, призванного спасти мир. Но мессианство не отозвалось в душе Пиво-

делова, не зажгло родственной и сподобной верой, а ужас деяний предков отвратил его. Тогда Пиводелов обратился к истории всеобщей, но и там обнаружил ту же кровавую грызню за корм и тепло, шутовские колпаки на мудрецах и тени варваров на стенах сожженных цивилизаций.

Природа создавала из праха и в прах обращала самые великие, манившие бессмертием эпохи. С маятниковым равнодушием совершала она свой путь, на который и были обречены люди во всех их неисчислимых коленах. И ничего другого им дано не было.

За долгую болезнь Пиводелов настолько проникся гибельным духом мировой истории, что, когда оправился и вышел в город, то вполне естественно соотнес с ним происходящее.

Кончалось лето 1917 года. Смута наводняла столицу Петра. Люди сбивались в толпы, как клочья дыма. Выли неурочные сирены на заводских окраинах. На столбах и решетках висели ораторы. Бежал околоточный, тяжело припадая на бок и придерживая саблю. Студенты громили аудитории и изгоняли неугодных профессоров. На Невском закипали драки, сыпались стекла и сверкали матросские бляхи. Люди неясной политической ориентации гоняли по улицам кошек с привязанными к хвостам жестяными банками. Декреты, воззвания и прокламации, наспех расклееенные по городу, закручивались в стружки или вздувались парусами и лопались. В Летнем саду, неподалеку от поваленного амура, сидела пожилая дама в шляпке с вуалью, чертя на земле острием зонта.

Горячечные месяцы, проведенные над историей человеческого рода, подорвали молодость Пиводелова. Он стал желт, непроницаем и почти бестелесен. На его глазах империя расползалась, как мокрая газета, и, как к мокрой газете, Пиводелов был безразличен к ее судьбе.

За пролетевшими птицами не оказалось неба — ровна и безжизненна простиралась серая гладь — и граненый шпиль Петропавловки упирался в ничто, и ничто рождало химеры, за которыми гнались рваные толпы. Город Петра утратил чистоту державных очертаний, и небо над головой, и твердь под ногами, он метался и слепо ворочался и сминал самое себя.

Пиводелов неподвижно стоял на углу Гороховой улицы, пропуская струящуюся толпу и безучастностью своею смещался за грань реальности, когда к ногам его грузно рухнул господин в бежевой паре. Пенсне господина хрустнуло под торопливым сапогом, но тут же оправило крылья и улетело, оставив слюдянистый след, и в этот миг Пиводелов окончательно стал вымыслом.

Он тут же был смыт толпой и плыл в ней с обретенной бестелесностью, пока не оказался у Летнего сада. Там он с легкостью вымысла проскользнул сквозь решетку и присел отдохнуть на лавочке вблизи амура, лежавшего ничком, как бы в ожидании розог.

Дама в шляпке с вуалью и весьма потрепанном пальто чертила на земле острием зонта и поспешно затирала рисунки высоким ботинком.

"Бог наказал нас и отнял разум. Вы, студент, должны это знать", — сказала дама, и Пиводелов всем телом потянулся на первую здравую мысль, услышанную в городе.

Дама снова нанесла на землю замысловатую фигуру и, секунду помешкав, стерла ее. "Что, не слышно ли знака?" — спросила дама. "Нет, сударыня, но какого, позвольте спросить, знака вы ожидаете?" — "Ах! — воскликнула дама и настораживающе хихикнула. — Ведь нас Бог покарал, мы все теперь ищем чертеж, вы знаете, как в моде нынче чертежи, — и стоит найти тот, что нужен, — Бог смилостивится над нами. Вот и я как все — черчу и жду знака. Ведь должен же наконец быть знак, что чертеж найден".

Пиводелов вежливо согласился и ушел. На решетке Летнего сада висел оратор, сжимавший в руке кепку. Толпа перекрывала гулом его высокий голос. Она была пестра, телесна, безумна, и Пиводелов отчетливо видел на ней кровь.

Пришла осень 1917-го года. Пришла и ушла. Околоточный сбрил усы и пил чай с отрешенностью Будды. Матросы грабили винные погреба на Невском, перепивались и вспарывали друг другу животы. Опохмелившись, они хоронили героев революции и за каждого вспоротого героя клялись расстрелять по сотне буржуев. Магазины с выбитыми дверями были пусты, как пещеры, но скобяные лавки преуспевали.

Пиводелов получил досрочную справку об окончании Высшего Технического училища. Фат, сложно остривший над его внешностью, оказался сброшен в Мойку и таким образом смыт с лица земли очистительным порывом революции. Что до Девушки, Отвергшей Пиводелова, то совершенный над нею революционный акт оказался не менее традиционен — она была попросту изнасилована, но за покладистостью, оставлена в живых. Пиводелов увидел меру ее исполненной, отвернулся и пошел продавать утвердившейся власти серебряные подносы и ложки, которые та поглощала с бескорыстной жадностью младенца.

Стояли морозы. На темных улицах лежали перевернутые трамваи, разутые и мертвые люди, и мертвые, обструганные до костей лошади с развороченными и таинственными недрами.

В Аничковом дворце теплился свет обживающейся власти. В его слабом отблеске гуляла Девушка, Отвергшая Пиводелова, желая отдаться за фунт хлеба. Пиводелов выменял хлеб на поднос, но потерял ее среди других девушек, столь же оживленных близостью голодной смерти.

Дама с зонтиком исчезла из Летнего сада, поскольку чертеж был уже найден.

Новая власть обошлась со старой вполне революционно, но из любви к высоким искусствам сохранила ее неживых кумиров. В 1924-ом году произошло катастрофическое наводнение, которым Нева отметила столетие сумасшествия Евгения, но скакавший всю ночь медный идол самодержавия уже не потрясал воображение. С Петербургом было покончено, и Пиводелов переехал в Москву.

Здесь он и стал, собственно, Пиводеловым, благодаря Отвергшей Девушке, временно служившей конторщицей. Она перекроила на совлад старую русскую фамилию Пивоваров, чем окончательно утвердила его в статусе вымысла. Искусственная фамилия в сочетании с незначительной внешностью позволила Пиводелову адаптироваться в новой среде, бодро распевавшей "Мы наш, мы новый мир построим", что в исторической перспективе звучало весьма забавно.

Скрыв образовательный ценз некого Пивоварова, Пиводелов обрядил вымысел в одежды домоуправа и на судьбе честолюбивых сокашников, срезанных властью, как букет, очень скоро убедился в надежности избранных одеяний.

Он неторопливо перелистывал потертые фолианты и убеждался, что ничто не вырастает из ничего. История человеческого рода была постоянна в иллюзиях, в крови и в бессмысленности, и Пиводелов — неуязвимый и бесплотный вымысел — наблюдал ее скорбное течение.

Но жизнь мстит за неучастие, и созерцательный ее ход был нарушен открывшейся однажды страстью к коллекционированию — бессмысленной и властной, как всякая страсть.

Послужила ли толчком к собирательству инертность его духовного нигилизма, сложившегося враз и лишь неторопливо изощрявшегося со временем, или просто слепой случай, приведший его в середине двадцатых годов на распродажу фарфоров из Строгановского дворца, но чайный сервиз, купленный там на последние деньги, стоял теперь в стеклянном трапециевидном ящике — краеугольным камнем уникальной коллекции.

Распаковав сервиз, Пиводелов посматривал на него с некоторой неловкостью, еще не понимая, что вошло в его жизнь, пока едва заметная треугольная выбоинка на молочнике не раскрыла заложенную в нем идею. Выбоинка так тонко обнажала фарфоровую хрупкость, что сладострастная дрожь скользнула по позвонкам Пиводелова, и он едва сдержался, чтобы не швырнуть молочник в стену.

Но сдержался и тем положил начало пути. Он распродал исторические фолианты, оставшееся серебро и мебель, имевшую самую ничтожную цену, обложился книгами по истории фарфора и обзавелся знакомствами с комиссионерами. Он обегал сотни домов, где в ожидании Торгсина доживали старинные вещи, и покупал фарфор — за деньги, за картошку, за муку. Когда денег не хватало, Пиводелов умело пожинал коммунальную ниву.

В денежных комбинациях он бывал разнообразен, изящен и, при полной свободе исполнения, умел сохранить меру,

подобно мастерам росписи по фарфору "Доцуай", чья ваза, исполненная в желтой гамме по кобальтовому полю, долго была венцом его коллекции.

Годы неслись в неутолимой жажде приобретательства, и безучастный юноша бесследно исчез в деятельном и хватком домоуправе. Пиводелов сдувал пыль со своих фарфоровых сосудов — бесценных облаток пустоты — и совершенствовал систему засовов.

К 1928-му году было покончено с нэпом, и Девушка, Отвергшая Пиводелова, попала в "лишенки", то есть утратила счастливое право на освобожденный труд и вернулась к доисторическому способу добывания хлебных фунтов, который теперь строго преследовался чопорной социалистической законностью. От тюрьмы ее спасла кооперативная артель инвалидов "Красный швей". По негласной договоренности, она вязала для артели носки, и за овес, жмых и пайковый хлеб ею пользовался председатель "Швея" с ловко отстегиваемой ногой. Он издавал крепкий запах профессии — пота, шерсти и кожи, настоянных на спирту — и бил девушку протезом, чтобы была под ним поживее. И она двигалась поживее и жаловалась на артельщика Пиводелову.

Взбаламученная жизнь все тверже укладывалась в колею, ведущую на северо-восток от столиц, и беспризорный фарфор исчезал. Открылись музеи, определились и частные конкуренты, превосходившие Пиводелова размахом и весом в обществе. Домоуправ напрягал силы в неравной борьбе и совершенствовался в коммунальном грабеже, чему много способствовали фарфоровые знакомства, но уступал, пока не началась война.

Ею открылись такие возможности, о которых Пиводелов и не подозревал. Дотоле управляемая страсть к собирательству вспыхнула с пожирающей силой. Пиводелов превращал в фарфоры материалы на восстановление Песочного дома из ловко заактированных руин, все дотации, которые мог выбить под хронически аварийное состояние перекрытий, комнаты и квартиры, неплотность штатного расписания, уголь и внутренние переделки достаточных жильцов.

Черт вылез из кувшина. Махинации Пиводелова потеряли присущую им прежде строгость и меру и напоминали роспись эпохи упадка. Три коллекции, чьи владельцы пострадали от фашистского нашествия, были объединены под знаменами Пиводелова, и только один конкурент держался, вовремя нырнув в интендантские закрома. Борьба между ними шла на выбывание, и каждый подталкивал другого к роковой черте. Кто-то должен был угаснуть за ней первым, и Пиводелов вздрагивал каплей на ресницах судьбы.

* * *

В коридоре послышалось незнакомое самоварное бормотание, раздался короткий стук, и в комнату вошел человек в белом кителе, сидевшем косо, словно остегнутом.

Осмотревшись, он заговорил, обмахиваясь соломенной шляпой:

— Простите, на миг. На один только миг. Долг отдать, так сказать... Прощайте рифму великодушно. Дмитрий...

— Садись, — рявкнул дед и вытащил меховую фляжку. — Выпей.

Человек оробел, поджался во что-то совсем круглое, но справился и воскликнул:

— Дмитрия отец! Не ждал, никак не ждал. С того свету, где нас нету. Но рад. Наслышан рассказами. Рад, хоть на парад. Ах, что это я все сегодня рифмами?

— Да выпей, говорят тебе, прочухайся!

Человек выпил и кругло задышал раскрытым ртом.

— Теперь говори толком, — приказал дед.

— Позвольте представиться! — сказал кругленький и шаркнул под столом ножкой. — Акинфий Фомич... хе-хе. — Тут он почему-то пощекотал Авдейку. — На пузе кирпич. Как в дет-стве, да-леком дет-стве, — запел он и прервал себя. — Да что это я? Так вот-с... Штрафного батальона боец, хотя и не венец, но и соузник — не союзник. Соратник сыну по грехам отцов, изрядных, впрочем, молодцов. Горячей кровью искупил я вашей молодости...

— Прекратить! — рявкнул дед и, приподняв кругленького

за шиворот, вбил в стул. — Толком говори! Прозой, сукин сын!

Тот проморгался и заговорил.

Машенька тесно сжимала лицо руками, выстраивая из лавины катящихся слов судьбу своего мужа, который прямо из военкомата был доставлен в тюрьму, а там определен в батальон смертников, который погнали на фронт, выдав на пять человек по одной винтовке времен турецкой войны. Сын врага народа, забытый за военной неразберихой, он напомнил о себе так некстати, как один только и умел — и был послан на убой. Но и на передовую не успел попасть, хотя и проходила она рядом, а погиб в какой-то избе, странно придавленный тем, что никогда прежде не падало... Машенька почувствовала, как дыхание, эту родную, никогда не разгаданную до конца нелепость, и в самой смерти не изменившую мужу, и ослабела, ничком легла на кровать.

Торопливый отдышечный фон, из которого незаметно выдохнулся кругленький, висел в комнате. Дед молчал и пил. Про Авдейку забыли. Отрыдавшись, он сидел в углу, и язычки пламени стояли в его широких, невидящих глазах.

— Дурак Митька, дурак, — тихо с твердой тоской проговорил дед, и керосиновые огни зашевелились в Авдейкиных глазах. — Гонит нас крысиное племя, а он под балкой гибнет. Нам жить надо, счеты свесть, хоть сколько, а утащить с собой гадов. Да, мельчают люди — и все через баб. Кто бы отцу моему, Савелию Лукичу рассказал такое про его внука — за обиду бы почел, на месте прихлопнул. Это ж надо — дураком погиб и с того света дурака прислал с донесением...

— Врешь! — отчаянно закричал Авдейка и, вскочив деду на колени, стал бить кулаками в огромное красное лицо. — Врешь! Врешь!

Потом что-то в Авдейке громко екнуло, и он съехал на пол задыхаясь и дергаясь.

Дед поднял его, прижал к груди и незаметно стер с лица отпечатки детских кулаков. Потрясенный невесомостью жизни, свернувшейся в его руках, дед затих, нашел взглядом керосиновую лампу и надолго задумался.

"Значит, и Митьку в штрафные пристроили, чтобы и семя не проросло. — Вот, как они нас изводят. Сына — к Духонину, а меня со счетов списали. Недоумки и холуи войной командуют, нацию переводят, — а я, выходит лишний. Где же я их проглядел, где проглядел это сучье племя? Несло по стрежню — и оглянуться недосуг было. Верен себе остался, и попятного пути не знал, а выходит, главного-то и не осилил. А ведь сверкнуло однажды под Волочанском — в мирозданье мысль, не в человека".

Качался стебель пламени в керосиновой лампе — множась, разбегаясь в слезящихся глазах — качались, множились, разбегались стебли трав и цветов майской степи 42-го года. Стояла хрупкая, готовая сорваться тишина перед атакой, нити нагретого воздуха дрожа поднимались над землей, и глаза, следившие за ними, каждый раз останавливались на холме, пришлепнутом дотом, как соском кормящей бабы.

Дед лежал в первой цепи, прикидывая путь, но ни ложбинки не мог сыскать на ста метрах перед холмом, проклятых метрах, наполненных металлическим ликованием кузнечиков. Миг тишины дрожал, но держался, и он хранил его в себе.

Тут залегший с ним рядом вор, по кличке Тароватый, неожиданно выкрикнул с ерническим подвизгиванием: "Сичас, сичас, терпи, девка! Уж мы всадим, уж мы тебе отольем! Чего придохли, спермазои, мать вашу так?!"

Дед хотел осадить его, но понял, что Тароватый уже мертвец. Пружина в нем соскочила прежде времени, и сам Тароватый, везучий и битый лагерник, почуял это и поник. С пацанов мотало его по срокам, а за войну дважды уже ходил он со штрафными батальонами, искупая вину — и уцелел. Он-то знал, как метит человека близкий конец — и не крикнул, не возмутился, а только поднял к небу внезапно взмокшее лицо и вздохнул во всю грудь.

Когда по короткому сигналу цепи бесшумно поднялись и хлынули в бой, тишина разом сорвалась. Грохочущий и жаркий вал вырос на пути, и Тароватый споткнулся о него, едва успев подняться. За спиной остался короткий всхлип,

которым тело его отозвалось смерти, и дед побежал вперед, привычно намечая место под шаги. В сознании его мелькнула сторонняя мысль о том, что в этом гибельном стремлении к цели есть и вправду что-то от слепого оплодотворяющего потока.

Он бежал сквозь вихрь звуков, сквозь хрип металла, охлаждаемого живой влагой земли и плоти, бежал в тишину, где тело отделилось от него, стало огромно и невесомо. Мысль, высвобожденная из тела, поднялась под свод мироздания, сверкнула ослепительной и всеразрешающей вспышкой прозрения. Он стиснул ее в себе и донес до вершины холма, но там она распалась комьями земли и звездным прахом, растеклась в неуловимый горизонт, чтобы уже никогда не вернуться. Дед взревел от ярости, вырвался из навалившихся тел, из оглушительного звона в ушах — и ощутил сотрясение под телом. Он лежал над ожившей амбразурой и, не зная, остался ли кто живой в роте, оглушил кулаком стонавшего немца с ободранным лицом, перевернул навзничь и опустил головой вниз, в пульсирующую струю огня. Тело резко дернулось — всплеснули руки, и голова разлетелась розовой дымкой — но он удержал его и опустил ниже. Струя огня захлебнулась в трупе, стало пугающе тихо, и дед не чувствовал себя живым. Он огляделся, отыскивая сверкнувшую мысль, но тут поднялись в последний бросок остатки роты, ударили автоматы и пули веером ушли вверх от бетонного среза дота.

Дед вжался в бетон, обдирая кожу на лице, и тело немецкого пулеметчика смаху обрушилось на него. Немец тоже слышал непонятную тишину, не вынес ее, бросил заглохший пулемет, вылез осмотреться и упал, снятый очередью. Дед с отвращением отбросил тяжелое вскипающее кровью тело, но не рассчитав усилия, приподнялся над краем дота. В лицо ударила бетонная пыль, прыснувшие пули рикошетом стегнули по голове, и он скатился вниз, не услышав взрыва, покончившего с его ротой.

Очнулся он в крови, обильно заливавшей лицо, и засмеялся, счастливо удивляясь себе.

Глухая ругань и хрипение рукопашной стихли. Высотка

была подавлена, части стремительно уходили в прорыв. Мысль вернулась в горизонт, она была вокруг — и ее не было. Но он был жив. Он был снова жив, и пространство жизни лежало вокруг — доступное и податливое. Крупный цветок покачивался у линии укреплений. Дед потянулся к нему, захватил в руку и стиснул мясистый бутон — до боли, до жидкой красноватой массы, полезшей меж пальцев.

* * *

Рисунок был домом, изображенным ею в три года от роду. Синий дом с разбросанными, как взрывом, по пространству листа окнами, крышей и трубой с дымом. Долгие годы он висел на стене детства, а за ним были янтарные доски, солнце, калитка, открывавшаяся с хода колесом велосипеда, следы от купальника, подложные плечи, танго "Брызги шампанского", сессия, споры об авиации, заглавная роль в студенческом спектакле, стильные парни из Осоавиахима в кожаных куртках и скрипящие половицы возвращения. Жизнь укладывалась в рамку высохшего до хруста рисунка, охваченного миром проклинающих газет, процессов, ночных арестов, институтских собраний и бесследно исчезающих знакомых. И война, сдувшая хрупкую преграду, — затемнение, воздушная тревога, дача в Малаховке, разнесенная взрывной волной, как дом по пророчески-синему рисунку, "Братья и сестры..." под стук державных зубов о стакан, привокзальные скверы, где обезображенные горем женщины стенали и отдавались в пыльной зелени на глазах прохожих, а мужчины угрюмо отдирали от ватников их руки, песочная бомба за стеной, бегство 16 октября, трамвайный парк, выбитые из клетей стекла, метель, продувающая огромный свод, оборудование, конвейер, гранаты, смена, похоронка, смена...

Но во всем, что теснилось в памяти, не было места ей самой. Все совершалось независимо от ее воли, не требуя усилия выбора — и Машенька не ощущала себя в живых.

Как черные тени по известковой стене, скользили в его воображении работницы с узловатыми руками, Сопелки, делящие хлеб, мать погибшего Алеши, отпечатавшаяся в окне, калеки с пустыми глазницами и солдаты с газетных полос, браво шагающие к гибели. Бессловесные тени войны — тени живых, живших и будущих жить, не ведая своего срока и вины — они двигались стеной известкового вымысла, а впереди них бежал потрясенный музыкой мальчик. Лерка узнавал в нем себя, маленького, вскидывал навстречу руки, но они пропадали за чертой — белые в белом.

Потом он крадучись добирался до ванной, мыл лицо под холодной струей и слушал доносившуюся сводку информбюро "В последний час". Заглушая сообщение, били часы в гостиной, и Лерка думал о том, что каждый из часов войны, с медным равнодушием отбиваемых каминными часами, есть чей-то последний час. И не выдерживал, уходил, до темна слонялся по двору, безотчетно рисуя на стенах парусники и исподволь заглядывая в окна Песочного дома. За ними в клубах сумерек, взрытых подобно илу, двигались люди, — неправдоподобно близкие, погруженные в таинственный труд жизни. Велосипедное колесо без шины катилось через двор с однообразным жевательным усилием. Лерка ждал мальчишку, который должен бежать за колесом с железной погонялкой, но мальчишки не было. Двор был пуст, и колесо катилось...

* * *

— Помню, загорелся однажды дом в деревне, да не в той, где мы жили, а километров за пять. Я, как услышал, побежал. Бегу и не знаю — зачем, но чувствую — надо мне туда. Прибежал, а там пламя столбом, от дома один остов уцелел, крыша едва держится. Огонь воет, где-то в рельс бьют, люди плачут. И я заплакал, да так, что кинулись ко мне, утешать стали. А знаешь, отчего я плакал? От восторга, от красоты плакал. И от ужаса — ведь пожирало дом это пламя. Пожирало и костями хрустело. Меня самого туда тянуло — броситься и огнем стать — только страшно. Я потом всегда хотел дом сжечь. Не знаю, зачем и рассказываю, — закончил Лерка.

* * *

Они вышли за ворота и у Пятого магазина встретили лошадь Французский Пакт. Авдейка поздоровался и заглянул в магазин, где было пусто и сыро. Болонка рвал траву, весело торчавшую из-под каменного порога, и кормил лошадь. Она брала эту веселую траву пепельными губами и задумчиво жевала.

Всю войну лошадь Французский Пакт возила хлеб в распределители и поэтому поседела. У нее были разноцветные глаза, забранные в шоры, и горбатый нос, а по животу ее, как по карте, текли голубые жилы.

* * *

В кольце людей, значительно поредевшем, сидел или, точнее, стоял безногий инвалид на тележке с подшипниками. Руками он быстро резал что-то черное. Авдейка незаметно стал рядом, но оказался на голову выше инвалида и сел. От инвалида пахло нагретой кожей и тушью. Сверкали ножницы, солнечными скрещениями нащупывая путь через черное поле.

— Готово! — сказал инвалид и протянул черное лицо молоденькому офицеру.

Тот засмеялся, разглядывая изображение и, нагнувшись к Авдейкиным ногам, положил в шапку бумажный рубль.

— Не стащишь? — спросил инвалид, покосившись на Авдейку.

— Нет. — Авдейка покачал головой.

У инвалида была щетина на щеках, а в зубах он зажимал потухшую самокрутку.

— Смотри, — предупредил он, беря верхнюю бумажку из черной квадратной стопки. — Тут милиции полно. И вообще, не укради, как сказано. Небось Завета не знаешь?

— Не знаю, — ответил Авдейка. — Но не украду.

— Э, да ты не Катькин ли пацан?

Авдейка отрицательно покачал головой.

— Темнишь, — предположил инвалид и вдруг закричал:

— Эй, красавица, чего жмешься? Подходи, изображу в лучшем виде, пошлешь милому, век помнить будет!

Из раздавшейся толпы вышла войлочными туфлями пунцовая девушка, стягивая на груди черный платок.

— В профиль, в профиль становись, мне вокруг тебя кататься несподручно. Да сыми к шутам платок этот, не старуха.

Залившись пунцовой, счастливой робостью, девушка сбросила платок и по-детски замотала русыми кудельками.

Авдейке как-то сразу стало понятно, что у девушки и правда есть милый и она пошлет ему свой профиль со вздернутым черным носиком. И от того, что и он, и инвалид, и все люди вокруг знают про ее милого и видят этот черный носик, Авдейке стало ужасно жалко девушку.

— Перекур! — бросил инвалид быстрому парню в кепке, сменившему девушку.

Он ловко свернул цигарку, запалил и повернулся к Авдейке крупным небритым лицом.

— Грустные, брат, дела на фронте.

— Не грустные, — ответил Авдейка. — Мы наступаем.

— Тяжелые, брат, эти наступления. Чужое хапаем, вот и скалятся нам во все зубы. Там теперь солдатика помолотит — подумать страшно. Не видать девчушке своего милого.

— Ты откуда знаешь, дядя? — спросил Авдейка.

— Знаю уж. Да и хитрости большой нет. Видно, погодок ее, у таких всегда погодки. Взяли его недавно. Такие быстро сгорают. Бабочки.

Авдейка отчего-то поверил и заплакал.

— Ну, будет, — сказал инвалид, доставая из клеенчатой сумки обглоданную серую буханку. — Пожуй. Ты, может, и не Катькин, а знаю я тебя.

Они стали ломать тяжелый, липнувший к пальцам хлеб. Инвалид разом заглотил свою долю и стал вылизывать ловкие пальцы в пятнах туши и кольцевых ртутных потертостях. Авдейка смеялся. Инвалид скосил крупный глаз и подмигнул.

— Личное оружие. Содержу в порядке. Да ты посурьезней, хлеб просмеешь.

Авдейка перестал смеяться, жевал мелко, грел хлеб в руках, нюхал.

— Держи, — сказал инвалид.

Авдейка взял черный, странной формы листок и не сразу понял, что это.

— Не признаешь?

Авдейка узнал себя, сжимавшего черный хлеб у черного рта.

— На память, — сказал инвалид.

Опять засверкали ножницы, вспархивало черное мгновенное чудо человеческих лиц и падали деньги в шапку. Останавливались военные, девушки, мешочники, остроглазые мальчишки с привокзальных дворов. Иногда что-то не нравилось инвалиду, он резал снова, а неудачные профили отбрасывал. Он устал, все чаще ошибался, и неудачные человеческие лица густо покрывали асфальт.

— Баста! — сказал инвалид.

Он размял пальцы, стряхнул с тела обрезки бумаги и положил ладони на асфальт.

— Ну что, нравится?

— Очень, — сказал Авдейка.

— А мне — нет, — ответил инвалид, укладывая в сумку стопку листков и ножницы.

— Этот вор, — заметил он, поворачивая пальцем сухое лицо в кепке, — определенно вор, я его сразу понял. А этот партейный, видать с периферии. — Он показал на внушительный профиль человека в шляпе. — С портфелем подходил, в парусиновом кителе, помнишь? Эти мешочники, а военных и сам видишь. Ну, бывай.

Инвалид резко забросил на плечо клеенчатую сумку и вдел руки в деревяшки, обтянутые потертой кожей.

— Эпоха! — сказал он, округло поведя деревяшкой над густо раскиданными профилями и, толкнувшись об асфальт, проехал по ним сверкающими колесами.

* * *

Деньги на танк Т-34 шуршали в Авдейкином носке, выкапывались картошками на участке Сопелок в Покровско-Стрешневе, добывались лесгафтовскими ребятами в Химкинском порту, были замурованы в погребе Сени Кролика, хранившего заначку Кащеевской семьи, лежали на чердаке в продавленном барабане Сажана и в трофейном чемодане с никелированными запорами, который Лерка выложил на свободный лоток Тишинского рынка.

Опустив руки на крышку чемодана, Лерка огляделся. Проходы между рядами были полны беспрестанного движения. В дальнем конце ряда, занятого Леркой, торговала картошками баба в мужском пиджаке и низко, по-крестьянски повязанном платке, а за лотком напротив стоял нестарый еще мужик с какими-то корешками, разложенными на белой тряпочке. Мужик был ряб, прост и синеглаз. Лерка улыбнулся ему и нажал на замочки. Крышка откинулась, загородив мужика, а в чемодан сунулся стриженый мальчишка, с кошачьей грацией выхватил рубашку, отпрыгнул и высморкался в нее. Лерка остолбенел. Мальчишка пытливо взглянул на него и, не меняясь в лице, внезапно и отчаянно заорал. Из толпы мгновенно выделились угрожающие фигуры, и сильный удар отбросил Лерку. Он размахнулся было ответить, но люди, разом облепившие лоток, слоились в его глазах. Вещи вылетали из чемодана, и люди уминали их за пазухи, как голубей. Лерка бросился в гущу толпы, оттаскивая странно послушные фигуры, которые тут же двоились и снова смыкались перед ним. Толпа казалась одним, безудержно слоящимся существом, и Лерка дрогнул под ее механическим натиском, попятился, сглатывая ставший у горла ком и бессознательно оправляя одежду. Ударившись спиной о столб, поддерживавший навес над рядами, Лерка остановился и через стыд, через отвращение и страх, не отрываясь наблюдал за грабежом.

Люди, плотно сгрудившиеся вокруг чемодана, не обращали на него никакого внимания, поглощенные молчаливым и скорым трудом. Лерка уловил ритмичность торопливых усилий, сопровождавшихся учащенным дыханием. Жизнь как бы обнажила перед ним скрытые стремления, отбросила покров пристойности и сделала свидетелем торопливого и жадного удовлетворения.

Вытесненный из толпы старичок с дрожащей и выцветшей головой что-то шептал себе под нос и жалобно разводил руками. Лерка поймал себя на том, что хочет помочь этому обделенному старичку и улыбнулся.

Толпа растеклась с быстротой и естественностью иссякшей волны, и лишь две бабы еще рвали друг у друга Леркин пиджак. Чемодан был пуст и утвержден на прежнем месте с педантичной точностью. Лерка опустил крышку. Запоры щелкнули, и перед ним снова оказался рябой синеглазый мужик.

— Как же так? — спросил Лерка, улыбаясь дрожащим ртом.

Мужик перемахнул лоток, грохнув о доски черным протезным ботинком. Он сидел теперь рядом с корешками и весело глядел на Лерку.

— Да так уж, — сказал он. — Шел бы ты отсюда, красавец.

— Да, больше здесь делать нечего, — согласился Лерка.

— Только вот что... — Синеглазый ловко спрыгнул и схватился за ручку чемодана. — Чемоданчик мне оставь. Оставь, красавец.

Лерка рванул чемодан к себе, но, заглянув в ясные и синие глаза, остановился. "Он хороший, этот синеглазый, — решил Лерка, — и они тоже хорошие, но несчастные люди". И то, что он смог увидеть в ограбившей его толпе хороших людей, показалось так важно и дорого, что Лерка улыбнулся и отпустил чемодан.

— Берите, — сказал Лерка. — Мне не жалко.

— Мешок! — заорала вдруг баба в конце ряда. — Картошек мешок покрали! И куда ж я теперь? Горе-то, горе-то горюшко... Ох! Мешок цельный! И-их, мата моя маточка... — Она занялась в голос, сорвала с себя платок и била в грудь, терзая узкие борта пиджака, откуда вылезал пестрый рукав Леркиной рубашки.

Синеглазый посмотрел на Лерку, и они расхохотались. Лерка смеялся от распирающей его радости понимания людей,

доступности их желаний и утрат, обезоруживающей наивности, с какой творят они зло и терпят возмездие.

* * *

— А дед, правда, не умрет? — спросил Лерка.

— Не умрет, — твердо ответил Авдейка.

Он приоткрыл дверь и взглянул на развороченную груду живого, подмявшую постель мамы-Машеньки. С белого покрывала свисали сапоги. Они были огромны, неподвижны и облеплены грязью.

— Идем, — сказал Авдейка.

— Так это твой дед? Могучий! Это да! Се человек. И что я его прежде не видел? У нас таких нет, — говорил Лерка, спускаясь с лестницы.

— Воевал он, — неохотно объяснил Авдейка. — Ранили его под Сталинградом.

Лерка не расслышал. Он был возбужден, полон сознания своей силы, возникшего в нем внезапно, когда в воротах дома он увидел Авдейку, не справлявшегося с пьяным проклинающим стариком. Лерка бросился на помощь в неприемлющий его двор, даже не успев подумать, нужен ли он там, — и попал к месту, успел подхватить пошатнувшегося старика. Лерка был потрясен рухнувшей на него тяжестью и удержался на ногах только благодаря незнакомому парню, подставившему себя под удар. Дрожа от напряжения, тащил на себе Лерка огромного старика, сокрушаемого резкими толчками, рвущими грудь и исторгавшими кровавую пену. Старик хрипел, стискивал зубы, удерживая жизнь в развороченной плоти, и, ужасаясь этому страшному противоборству. Лерка воспринимал его звучанием музыкальных тем, стихий жизни и небытия, которые непроизвольно развивались в его сознании, достигая кульминационного слияния. Потом старик рухнул на кровать и остался в одиночестве доигрывать трагическую партитуру, а Лерка вздохнул с облегчением и выскочил на лестницу.

Заглядывая в окна лестничных клеток, в мутную пропасть, разверзшуюся за ними, Лерка чувствовал, что способен прыгнуть и не разбиться, но миновать грань, уйти из себя в целое и обитать в пространстве, слившись с растворенными в нем звуками. Чувство это сродни было тому, что возникало прежде за роялем в те счастливые часы, когда в музыке сосредоточивалось все его существо, и черной небылью показался бы клочок дымящейся земли, поглотивший и волю его, и надежду, и музыку...

"Почему я об этом? — подумал Лерка, вздрогнув от настигшего видения. — Оттого, наверное, что смерть... Старик, смерть его рядом, — и та..."

— Что? — быстро переспросил Лерка.

— Грудь, говорю, разворотило деду под Сталинградом.

"Под Сталинградом, — повторил про себя Лерка. — Вот оно что... В степи, возле Иловинского разъезда... Алеша..."

Он зажмурился, опасаясь, что как два года назад, тогда на полустанке, раскроет глаза и сквозь слепящий свет увидит свою фотографию в руках штатского, и Кащей с разорванным ухом плюнет ему под ноги.

"Этот!" — торжествующе крикнет штатский, швырнув его в руки охраны, и сунет фотографию в карман — и тогда задрожит взятое в решетку окно станционной кладовки, и начнется, начнется...

Лерка раскрыл глаза и увидел на перилах руки. Они покрылись веснушками и казались чужими.

— Ты о чем? — спросил Авдейка.

— Деда твоего кровь, — сказал Лерка, присмотревшись к рукам.

— Ничего, у деда много крови, — заверил Авдейка, поспешно отводя глаза.

* * *

— Дядя Сидор! Мы вскопали уже у вас! — кричал Авдейка, выскочивший из подъезда к насыпи, к неподвижным ногам Сидора, постукивавшего лопатой о камешек.

Сидор воткнул лопату и принялся отыскивать Авдейку незрячими синими глазами.

— Я здесь, дядя Сидор, — сказал Авдейка и взобрался на насыпь. — Мы с дедом у вас вскопали.

— Правда, — ответил Сидор без всякого выражения. — Я и чую. Руками. Руки, милай, все чуют.

Он вытащил кисет и стал сворачивать цигарку, страшно дрожа руками и просыпая табак. Прикурив, Сидор заговорил, неподвижно глядя мимо Авдейки, которого потерял его синий взгляд.

— Еще с осени знал, тяжелого года ждать — лист мшиной наверх ложился. А лист — он знает. Вот и тяжелый — сынов убило. Обоих. Не писали все, не писали — и на тебе. И не близко были, а в один день пресеклись. Вот как. Вот и тяжелый год. Были легкие, да облетели.

Он прокашлялся и принялся сосать потухшую цигарку.

— Дядя Сидор, что вы сажать будете? Я помогу.

— Спасибо, милай. Только ничего я сажать не буду. Морковь хотел, для глаз, говорят, пользительно, только баловство это. Не дожить мне до моркови. Всему свое время, а мое вышло. И так припозднился, все сынов ждал...

Они стояли лицом к лицу, разъединенные черной полосой пустующей земли — старик и мальчик, изолированные дремотными полусферами Леркиного бинокля, как единственно сущие в мире — старик и мальчик, начало и конец неисчислимого рода людей, прерванного войной — старик и мальчик, опоры моста, рухнувшего в реку, "до" и "после" — старик и мальчик, между которых ему, Лерке, места не было.

Он не выдержал и отвел бинокль. Двор, обступавший старика и мальчика был пуст, насторожен, он внушал скорбное обаяние их неподвижным фигурам. Покачивалась распахнутая дверь в кочегарку — вниз, в непроглядную темень, в чрево двора, затаившее Степкин смех.

Когда Авдейка оставил Сидора и понуро побрел к дому, стараясь не торопиться и думать, что дед жив, он опять попал в глаза Лерки, попал соринкой, заставившей его зажмуриться.

Потом он снова увидел лужу в воротах, напоминавшую очертания Африки. Растоптанная Авдейкиным дедом, лужа перестала быть лужей, она заполнила собой все зрение, она казалась твердью, разрушенной вселенской катастрофой — и Лерка отнял бинокль от глаз.

Ворота были распахнуты и пусты. Жизнь совершилась и миновала их, не заметив лужи, походя растоптанной сапогами безумного старика.

* * *

Лерка наскоро оделся и схватил бинокль. Он добежал с ним до дверей спальной и запнулся. Потом яростно швырнул бинокль в постель, сунулся в шкаф, встроенный в коридорную нишу, и выхватил первую подходящую вещь — белого песца матери. Он выскочил с ним в подъезд, но одумался — глупо бегать по двору с дамской горжеткой — вернулся, скомкал пушистый мех и обернул попавшей под руку картой с маршрутами своих воображаемых путешествий.

* * *

Сахан осмотрел песца — пушистый, подлец, скалится. Вытряхнул из географической карты, проверил, нет ли желтизны.

— Белый, чисто белый, — сказал Лерка.

— И почем такой?

— Не знаю точно. Мать вроде две тысячи за него отдала.

— Дороговато.

Сахан прикинул, что поискать придется такую сытую дуру, что два куска разом выложит, но привычно наметил сотни три сделать себе на этой шкуре. Он вздохнул, подавляя злость к Лерке, — какие нежности при нашей бедности — и сказал:

— Ладно, идем на рынок.

Лерка отшатнулся.

— Сейчас?

— А чего тянуть? Кто посмеет, тот и пожнет.

— Только не на Тишинский, — просительно пробормотал Лерка.

— Никак был уже? — Сахан проницательно взглянул на него. — Да не мельтешись, был так был, меня не гребет. На Бутырку сходим. Только сумку возьму — не из карты же песцом торговать, путешественник.

Лерка вздрогнул — по больному ударил Сахан. Всегда он умел больное найти и бил туда без жалости.

День наливался светом. Заводские гудки поднимались раз-

ной высоты столбиками. Люди шли на работу. Лерка с трепетом думал о рынке, о том, как просто и бесстыдно был ограблен среди бела дня, и не понимал, чему радовался вчера. "Тому, что отделался легко", — решил он, заглянув в себя. Это было не все, он знал, что не все, но и это было правдой, от которой Лерка зажмурился.

Из подвала вынырнул Сахан с драной клеенчатой сумкой.

— Продери глаза, труженик. Пошли.

Лерка не ответил и решил молчать, но дорогой не выдержал и заговорил про второй фронт.

— Надувательство, — отозвался Сахан. — Чужими руками жар загрести хотят. Да только на нас где сядешь, там и слезешь.

— Верно. И нас боятся, и руки погреть не против. Американцы и после первой, четырнадцатого года, войны Европу, будь здоров, пограбили. Богатые они.

— Как в Писании, — ответил Сахан. — Богатому да прибавится, у неимущего да отнимется. Это мне бабка читала заместо сказок. Она другого читать не умела. Засыпал под эту муть быстро. Другого ничего не запомнил, а это — как впечаталось.

— Да, богатые. Рынок у них свободный.

— Это какой такой, свободный?

— Ну, цены не государство устанавливает, а спрос. Сколько за товар дают, столько он и стоит.

— Это я тебе за горжетку рубль дам, так она рубль и стоит?

— Да, если кто другой больше не даст. Колеблется цена. Вот сейчас война, на оружие спрос, за него и платят много. А не будет войны — упадут цены. Поэтому тем, кто оружие продает, империалистам этим, война нужна.

— Простенько, — ответил Сахан. — Это, выходит, и у нас империалисты завелись? А не они, так кто ж Финляндии кусок отхватил, да Прибалтику с Польшей?

— То необходимость была, стратегическая, — теряя уверенность, возразил Лерка.

— Я тебе вот что скажу, — жестко отрезал Сахан. — Все суки хорошие, у всех необходимость. Только шкуру за их необходимость с шестерок дерут, вроде нас с отцом. Эх, волю бы мне над этой сволотой — хоть на час! Я бы их не сразу убил. Раздел бы сначала и водил по городу. И чтобы в барабан стучали, суки. Вот так — голые и с барабаном. А я чтоб смотрел. А потом убил бы и всех в одну яму покидал.

Лерка удивленно взглянул на Сахана — бескровное, обострившееся лицо, нос утиный, глаза посажены глубоко, мутные — и встретил такую звериную злобу, что смутился.

— Почему ты им такую... странную смерть надумал — голыми, с барабаном и яму одну?

— Потому, что страшнее ничего нет. А тебе не понять.

Во весь путь Сахан ничего больше не сказал и только за Бутырским валом, возле самого рынка, бросил:

— Вон он, твой свободный рынок — тушенку на валенки меняет.

Лерка проследил его взгляд и увидел мужиков, рядящихся о чем-то у дощатых строений. Хлипкий человечек, роняющий из-под руки вложенные друг в друга валенки, мотал головой, а дюжий мужик в распахнутом кителе совал ему банку американских консервов, отливавшую жестяным золотом.

— Не стоит она валенок, — заметил Лерка.

— На десятку помажем, что отдаст? — предложил Сахан, оживившись.

— По рукам.

Не успели они разбить руки, как хлипкий мужичок решительно зажал свои валенки и отошел.

— Говорил тебе! — воскликнул Лерка.

— Странно, — протянул Сахан. — Ну, да ладно, червонец за мной. Отдам при возможности. А теперь идем.

Но Лерка остановился, не в силах одолеть рыночные ворота.

— Сахан, иди один, — взмолился он. — Не могу я там... я тебя здесь ждать буду.

— Замерзнешь, — отрезал Сахан. — Этой твари хозяин нужен под пару. Богатый песец, меня с ним заметут — моргнуть не успею. Идем.

Он провел Лерку между шумными торговыми рядами с

картошкой, зеленью, маслом и ранними яблоками. В глубине рынка, в отдалении от лотошной суеты, Сахан остановился, поглядывая на людей, слонявшихся без видимого дела.

— Давай достанем, чего без толку стоять, — предложил Лерка.

— Кому надо, сам подойдет.

Первым подошел парень лет пятнадцати, одногодок. Помявшись, спросил, указывая глазами на сумку:

—Чего?

Лерка открыл было рот, но Сахан опередил его:

— Дуй через плечо. Пошел отсюда.

— Ты полегче, — начал было парень, но Сахан отвел ногу и врезал ему под зад.

Парень проскочил вперед, потом остановился, обмерил Сахана взглядом и скрылся. Сахан поправил веревку, стягивавшую рваный ботинок и пояснил:

— Шелупонь. Перекупщик начинающий. Шестерка.

— А если подвалят к нам и песца отнимут?

— Не подвалят, они все тут под Кащеевыми братьями ходили. Помнят.

— Но Кащеевых братьев на фронте поубивало.

— Ничего, с того света страшнее.

Лерка стал ждать, чем все это кончится. Подходили люди, спрашивали, но Сахан сумки не раскрывал, пока из рыночной суеты не вынырнул старик с пустым мешком на плече.

— Что меняете, сынки? — спросил старик.

— Товар по деньгам, — ответил Сахан и раскрыл сумку. — Песец. Высший класс.

— Хорош! — ответил старик.

— Хорош. Два куска, папаша.

Старческая рука нырнула в белый мех, и Сахан ударил по ней ребром ладони.

— Ты, папаша, денежки заплати, а потом лапай.

— Строг ты, сынок, строг, — ответил старик с ласковой улыбкой. — Вот война что делает — детишки совсем, а на толкучку. А я к детям всей душой. У меня и свои — воюют.

— Так это ты им горжетки торгуешь? — спросил Сахан.

— Ты брось, не озорничай! Молод еще, — обозлился старик.

— Вали, папаша, вали, — ответил Сахан.

Старик попятился, не сводя глаз с песца. Сахан закрыл сумку.

— Зачем ты его так? — спросил Лерка, думая про вчерашнего обездоленного старичка. — Может, купил бы?

— Вернется.

Старик, и правда, вернулся, вынырнул из толпы — неприметный землистый, точно наспех сшитый из мешковины — стрельнул глазками.

— Смотрю, не берет у вас, сынки, никто. Ладно, думаю, облегчу ребяток. Восемьсот даю.

— Другой раз зайдешь, папаша, — ответил Сахан. — Я у кота хвост отрежу за твои восемьсот.

— Озоруешь, — ответил старик ласково и исчез.

— Придет еще, этот от своего не отстанет. Но настоящей цены не даст. Ладно, пойдем потихоньку, а то он нас целый день морочить будет.

Сахан двинулся к выходу, затискиваясь в самые бойкие места, и Лерка едва не потерял его.

— Постоим малость, — сказал Сахан, кого-то высматривая в толпе.

Лерка заметил невысокого плотного человека в тенниске, выскакивающего над торговыми рядами розовым шаром.

— Знакомый будто, — сказал Лерка.

— Да наш это, из Песочного. Коля-электрик. Плитки ворованные продает.

— Может, ему показать? — спросил Лерка.

"А что, может, и возьмет, — думал Сахан. — Но только не здесь ему надо показывать. Он теперь сам зверюга, сам в запале рыночном. Здесь он и полцены не даст. Как это — сам обдираю и чтоб меня тут же? Нет, я ему дома покажу, когда он в халатике, да на диванчике, чайком раздобрен. Там он барин, по нраву придется — и без торговли возьмет, с шиком".

— Нельзя, — ответил Сахан, — очумел что ли в свой же дом продавать? А мать признает?

— Правда. Не подумал. — Лерка смутился и почувствовал

такую неприязнь к чужому, грубому рыночному сброду, который так понимал и любил вчера, что и за сотню отдал бы этого песца, чтобы уйти отсюда скорее.

— Тысячу даю, — сказал вынырнувший из-под руки старик, ощупывая Лерку жесткими глазами и обдавая погребным духом.

Лерку шатнуло от брезгливости, и он едва выговорил, показав на Сахана:

— Вот с ним сговаривайтесь.

— Вали, папаша, вали, — ответил Сахан, но неожиданно раскрыл сумку и помахал белым хвостом. — Прощается с тобой, папаша. Дорог ты зверюшке. Но жаден.

— Тыща двести, — сказал старик и исчез.

— Еще вернется, — сказал Сахан. — Но своей цены не получим. Два куска — большие деньги. Настоящая цена войной открылась — что к пузу ближе, то и дороже. В Ленинграде, говорят, в блокаду бриллианты за пайку отдавали. Понял теперь, откуда эти Ферапонты Головатые берутся? Кто медком, кто картошкой и маслицем. Вот у кого деньги, вот кто может самолеты да танки дарить.

— Ну, хоть дарят.

— Дарят-то единицы, а посчитай, сколько их тут, мешочников-то, а? То-то. Кто и дарит. Совесть заест, или помирать пора, или просто покупать на них нечего. А то и власти поприжмут. Вот и подарит родине — глядите, какой я патриот. А не с родины ли он содрал свои тысячи?

— Вот, не думал, — ответил Лерка.

— Подумай. Только не долго всем этим бриллиантам да мехам у мешочников вековать. Помянешь мое слово. Кончится война, наладится мир — тут и спустят. Тогда уж они в крепкие руки попадут.

— Кому?

— Да, хоть твоей мамаше, — ответил Сахан и ухмыльнулся.

Подходили люди, спрашивали. Сахан кому разворот давал, с кем разговаривал, а кому показывал белый хвост. Лерка пытался сообразить, по каким признакам оценивает Сахан покупателей, но ничего не понял. Люди были равно чужими,

отталкивающими, с грубыми мешочными повадками — тертые были люди, лишенные всякой наивности, так пленившей его вчера.

— Пойдем отсюда, — взмолился Лерка.

У ворот их догнал старик, сшитый из мешковины, и преградил путь:

— Полторы, ребята. Полторы, и конец делу.

Старик больше не улыбался, глаза его вцепились в Лерку двумя черными зверьками.

— Вали, Ферапонт, — ответил Сахан и толкнул старика.

— Отдали бы, Сахан, — сказал Лерка.

— Полторы и так получишь, бля буду. Даже больше, тысячу шестьсот. Сегодня же сделаю, я уж придумал, кому показать.

Лерка согласился, едва не бегом выбрался из ворот и облегченно отдышался.

— Эй, смотри-ка, — остановил его Сахан.

—Что?

— Да вон, свободный-то рынок.

Чуть поодаль тех сараев, мимо которых они подходили к рынку, били по рукам давешние мужики. Валенки теперь перекочевали к детине в кителе, а тушенку прижал к груди шаткий мужичок.

— Как же я сразу не понял, — сказал Лерка. — Он голодный, этот маленький. Вот и отдал свои валенки. Проиграл я десятку, Сахан.

— Голодный! — Сахан расхохотался. — Ну, Лерка, удивил! Этот-то старикашка голодный? Да он зимой за валенки по десятку таких банок берет.

— Как так?

— Да так. Видно, на базе где-то сторожит. Ну и имеет. Теперь не сезон, а старичок дерганный, пьяница, до минуты жаден — вот за банку и отдал. Он уж где-то сговорился тушенку на бутылку сменять, только две урвать хотел. Я так сразу и смекнул. У бедного человека и валенки потертые, и менять он их не в сезон не станет. Голодный — дело другое — но опять же, не на тушенку менять будет. Тушенку съешь в минуту, а вспоминать год станешь. Голодный на хлеб меняет.

Лерка покраснел. Досадовал он не на то, что десятку проспорил, а что не знает этой жизни собачьей и опять Сахану сосунком показался.

— А уполномоченный куда смотрит? — спросил он в сердцах.

— Куда смотрит не скажу. А что зимой он валенки носит, это факт.

— Послушай! — осенило Лерку. — Может, мы с горжеткой нашей не в сезон? Лето ведь.

— Горжетка — не валенки. На нее зареза нет, а значит, и сезона тоже. Ладно. Сделай ручкой дяде Ферапонту и айда. Мне еще с твоей шкурой зайти кое-куда надо.

— И как это ты все наперед знаешь? — спросил Лерка.

— Ерунда. Никто ничего наперед не знает. А знали бы — со страха подохли.

* * *

Отделавшись от Лерки, Сахан занес песца в домоуправление, но Пиводелова не застал и решил наведаться к нему в тихую квартирку на Беговой. Колю-электрика он оставил про запас, на случай, да и сомневался в нем — больно ухватист мужик. И не крестьянин, а повадки ферапонтовские. С Пиводеловым проще — другого полета птица — за деньгами не постоит. За войну поди, на эскадрилью нажил. А меры не знает. И как это люди устроены — и тертый, и поживший, и черта самого обведет, а все со слабинкой. Губят людей деньги, расслабляют. А расслабился — чик-чирик — и в клеточку. Похоже, и Пиводелову не долго порхать — продает комнатки, как оборзевши, а эвакуашки все наезжают, жалобы пишут, да и под бомбу, поди, нахапал, а дом все дырявый. Зарывается начальник.

День входил в силу, припекало. Сахан расстегнул рубаху, подумал: "Живу. Надо же. Давно ли с крыши посматривал, перильца щупал. А жив. И куска вроде не так жаль — дело наживное. Будем живы — разбогатеем".

В тихом переулке на Беговой он встряхнулся, застегнул рубаху, но у самой двери с надписью "Пиводелов" на медном ромбике, призадумался. И чем дольше стоял, тем неохотнее тянулась рука к пупочке звонка. Кончилось тем, что Сахан смачно плюнул в пупочку и опрометью бросился вон. Не рискнул. Обходи корову сзади, а трамвай спереди. Назначит начальник за песца шиш — и поди ему не отдай, когда он тебе зарплату выписывает.

Возвращался Сахан растерянный, злой. Не сразу заметил людей у забора стадиона Пионеров. Потом пригляделся, понял — немцы пленные за забором, видно, по городу их поведут. Подошел полюбопытствовать. Какой-то безрукий мужик в расстегнутом кителе с подколотым рукавом — по виду бывший старшина — стоял у щели и улыбался со снисходительной щедростью:

— Ферштейн, ферштейн, пейте, чего уж. Я вашего брата побил — во! — Тут мужик провел по горлу оставшейся рукой. — А теперь — чего там — пейте.

Из щели высунулась рука с пустой кружкой. Инвалид принял кружку и сказал остановившемуся возле него Сахану:

— Мы не живоглоты, пусть знают. Задерживают их что-то. Жарко.

Сахан смотрел мимо него, в щель, из которой высунулась рука с серебряной луковицей часов на цепочке.

— Вассер! Вассер! — неслось из-за забора.

Инвалид отстранил часы рукой с кружкой и сказал:

— Нам вашего не надо. Это вы на наше позарились. А пить хотите — так что ж не напоить. Не живоглоты.

Инвалид улыбался, гордо поглядывая вокруг.

"Дурак, — подумал Сахан и прошел мимо, но спохватился. — Он дурак, но я-то хорош!"

Круто развернувшись, он перебежал улицу, нырнул в полутемный подъезд и стал стучать в двери. Не дождавшись пока откроют, он взбежал на второй этаж — но и там не отпирали. Сахан бросился было вверх, но тут раздались тяжелые шаги, и одна из дверей распахнулась. В темном проеме стоял высокий и мрачный мужик.

— Дяденька, воды! Дай напиться, помираю, — зачастил Сахан.

Мужик, не отвечая, закрыл дверь.

— Чтоб тебе... — ругнулся Сахан и стал ломиться в двери на следующей площадке.

Там тоже будто вымерли. Сахан отчаялся, но тут внизу лязгнуло, и в дверях показался мрачный мужик с поллитровой бутылкой в руке. Сахан слетел вниз, выхватил бутылку с водой и бросился на улицу. Он нашарил взглядом щель в заборе, откуда показывали часы и, отметив, что инвалид отошел, поднес к ней бутылку с водочной этикеткой.

Чужая речь приблизилась, хлынула в щель, и Сахан отвел руку с бутылкой.

— Часы, — сказал он в придвинувшиеся лица. — Часы, ну, как там по-вашему — тик-так, тик-так!

— Йя, йя! — За щелью понятливо закивали и высунулась рука с луковицей.

— Сахан схватил ее и отдал бутылку. "Фальшивое, поди, серебро, — думал он, разглядывая часы. — Но ходят".

Он сунул часы в карман и тут, избегая чьей-то протянутой руки, приблизилось к щели запрокинутое сосущее лицо. Сахан мигом вырвал бутылку из впившегося рта. Немец глядел во все белесые глаза, не понимая, что произошло.

— Не пяль зенки, сволочь, — сказал Сахан. — Попил — дай другим.

Он решительно отошел от щели и двинулся вдоль забора.

— Вассер, вассер! — кричал белобрысый немец.

Сахан шел, не оборачиваясь, сожалея, что воды осталось маловато, хоть мочись туда. У следующей щели остановился и прокричал:

— Вассер! Гони тик-так!

Там откликнулись быстро, и Сахан отступил на случай, если тот же белобрысый подойдет. Но этот немец был постарше, с лицом под защитный цвет мундира, и часы он протягивал ручные. Сахан, почти не глядя, спрятал часы, отдал бутылку и стал поторапливать. Но немец и без того управился мигом. Схватив бутылку, Сахан бросился назад в знакомый подъезд и принялся колотить в дверь к мрачному мужику. Тот открыл и стал на пороге.

— Еще, дядя, — сказал Сахан.

Мужик неторопливо взял бутылку, протянул огромную ладонь и пробасил:

— Часы выкладывай!

Сахан отскочил.

— Ты что, дядя, какие часы?

— Которые у немцев взял. У меня окно туда выходит.

Сахан пятился, не спуская глаз с огромной ладони, потом нащупал ногой ступеньку и бросился прочь во все ноги. На солнце опомнился, прижал к груди сумку, удивился, что не уронил с перепугу. Подумал — и побежал до дома, сколько духу хватило. Открыл дворницкую, забросил в угол сумку с песцом, нашарил погнутое ведро, залил до половины и мелкой рысцой поспешил обратно.

У ворот уже набралась толпа, над которой возвышалась охрана верхами. Сытые лошади пританцовывали, гнули шеи. Выход со стадиона коридором охраняли солдаты с карабинами. Сахан взглянул на строгие лица, на сверкающие иглы примкнутых штыков и понял, что опоздал. В сердцах громыхнуло ведро об асфальт так, что вода пролилась на ноги. Пошли немцы, выравниваясь в широкие колонны. Косились на ведро, сбивались, кричали:

— Вассер! Вассер!

— Иди отсюда, парень, не смущай, — сказал конвойный с запавшими щеками в недавних порезах от бриться.

— Они нас мучили, теперь их черед, — ответил Сахан и ногой выдвинул ведро.

Черным шаром на слепящем солнце метнулся в ноги немец и тут же откатился.

— Ведро! Мое ведро!

Сахан рванулся вперед, но, отброшенный конвоем, отскочил и затих.

Ведро, поднятое над пилотками и фуражками, проливало на живую мутно-зеленую массу потоки воды и солнца. Потом оно истощилось, погасло и исчезло навсегда.

Но часы стучали. Если одновременно приложить их к уху, казалось, что они задыхаются. Сахан слушал и отдыхал.

* * *

Перед Леркой вырос Сахан — собранный, злой. Рванул за плечо, приводя в чувство.

— Ты... чего? — не видя его спросил Лерка.

Сахан дернулся от гадливости, но взял себя в руки и твердо сказал:

— Хочешь, Степка сегодня твоя будет?

Лерка похолодел, не мог справиться с дрожью. "Догадался. И как он догадался?"

— Ну, дошло, жеребец?

Лерка попятился, затряс головой в страхе и отрицании, но спросил другое:

— А ты... ты уговоришь?

— Уговорю. А деньги за горжетку... — Тут Сахан хлопнул себя по карману. — Мне. Понял?

— Понял, понял, пусть тебе, — ответил Лерка, наполняясь бредовым жаром.

То, что это произошло так легко, и два куска, за которые ломаться и ломаться — за так, за задницу идиотки — лежали в кармане, почему-то яростью стегнуло Сахана.

— Ты, танкист дуев, — прохрипел он ругательство в бредовую Леркину рожу, не зная еще, что скажет этому чистенькому губошлепу, чем унизит его в следующий миг, но тут опережающе сработала какая-то ходкая извилина, и Сахан окончил:

— Деньги гони на водку, вот что, Степку поить нужно. Пятьсот рублей. Я на твое скотство выставляться не намерен.

— Принесу, принесу, — заторопился Лерка и вдруг отшатнулся от ударившего в глаза солнечного блика.

Захваченный врасплох, Лерка воспринял этот луч как настигшую кару, он закрылся руками и, пригвожденный к месту, был готов к немедленной и безусловной гибели. Но луч миновал, и Лерка поднял лицо. Над ним в распахнутом окне второго этажа стояла Алешина мама. Она безучастно глядела во двор, и руки ее лежали на черном. Потом она заметила Лерку, слабо улыбнулась и исчезла.

* * *

Все впечатления следующего часа остались в Леркином сознании с такой исчерпывающей точностью, что покрыли в памяти целую жизнь. У Алешиной мамы была заискивающая улыбка, и с удивления этому начало отсчитываться время, которое Лерка по необъяснимым признакам определил в час.

Он нашел взглядом Сахана и спросил, сильно отделяя слова:

— Тебе не стыдно себя?

Но Сахан, растерянный мгновенной переменой, исказившей Лерку, не понял его.

— А мне стыдно, — сказал Лерка и ушел, не оборачиваясь.

Он хотел вспрыгнуть на парапет и пересечь насыпь, но испугался, что резким движением собьет последовательность поступков, с этого момента как бы не зависящих от него и определяющихся собственной логикой, которой он вверился, следуя безошибочному и властному чувству. Поэтому он пошел в обход насыпи, с небывалой зоркостью отмечая трещины в асфальте, отбитую штукатурку на кирпичной кладке парапета и лоскут краски, трепещущий на стойке ворот.

"Она стесняется своего горя, — думал Лерка об Алешиной матери. — Она не мне улыбнулась, она меня и не узнала. Она Алешиному ровеснику улыбнулась, извиняясь за нелюбовь, за то, что она целиком с тем, погибшим, сыном своим — и закрыта для жизни.

А Алеша был открыт, как никто. Со всего двора один он и понимал, как я играю, и уж слушал — до слез. И запомнил, оттого и погиб, что запомнил. Что я? — перебил себя Лерка. — А то. Моя была очередь за водой идти — а я забыл. Просто забыл, что мне идти — и не откликнулся, когда Кащей спросил. И Алеша знал, что моя очередь, но тут же схватил котелок и полез под отодранный настил. Решил он, что я испугался? Вряд ли. Там я счастлив был, свободен, там я ничего не боялся. Теперь не угадать, что Алеша решил, но пошел он вместо меня, вместо меня и погиб.

А я лишь на миг и вспомнил, что моя была очередь, мой шанс — от зависти вспомнил, уже запертый в станционную

кладовку, когда по дребезжащему стеклу проплыл отцепленный вагон, а спиной к нему, упершись ногами в противоударные диски, стоял Алеша и тряс кулаком — от восторга своего, от победы, оттого, что ушел. Прыснувшая в стороны железнодорожная охрана беззвучно палила вверх, в рокочущее небо, тени бомбардировщиков скользили по выгоревшей земле, осыпалась штукатурка и лохмотья ржавчины дрожали на решетке окна..."

Но тут пробежал след по касательной к рельсам, тот след... сперва показалось — череда дымных язв проступила, и тут же потемнев, плеснула фонтанами, и вагон с Алешей чуть приподнялся, как бы завис, и вдруг исчез, скрутился в огненно-черный столб, а под ним веером распалась земля и приняла в себя обломки металла и дерева. Движение замерло, самолеты истаяли в небе, затихло дрожащее стекло, и лишь скрученный рельс покачивался сверкающей иглой, да тихо дымились воронки.

Засов ударил, и остервенелый голос заорал, срываясь: "А ну, марш, пиздюки, марш, я сказал, суки позорные, дружка свово собирать. Что найдете — матери пошлем. Ищите, пиздюки, чтоб другой раз неповадно было! — как хлеб ищите! "

"Было ли время над тем горелым месивом, куда нас загнали прикладами — куда подевалось время, когда мы бродили в дыму, и у кого первого задымились подошвы, и кто нашел первым — и что, и кого первого рвало, и кто кричал, кто кричал дурным паскудным криком, забитым в память, как кол — Сахан, Кащей, я? Вот чего я боялся коснуться во все эти два года, потому что это я устроил побег, и моя была очередь идти за водой — и это требовало немедленной расплаты, а ее-то я и боялся. И каким же гадом струистым обернулся, как в глотку не кинулся осатаневшему садисту, как пасть не заткнул, оравшую: "Шире, шире берите, пиздюки, голова-то откатилась. Не уйдете, пока головы не добудете!"

А не стало меня, оттого и время с тех пор исчезло. Все мурыжил себя, живым прикидывался, на роялях бренчал, да идиотке под юбку заглядывал — а ведь там, у ямы этой, я и кончился, когда на коленях ползал и, соплями обливаясь, тянул живое, лишь живыми руками различимое в горелом месиве, и морду воротил — от своей судьбы, от своего шанса.

Но вот и ожил, вот и поднялся наконец — там, где и кончился, и шанса своего больше не упущу. Моя воля — и никто мне не заступит!"

Все же он испугался, что кто-то помешает ему — и побежал, в секунды одолел лестницу, бесшумным рывком распахнул дверь.

* * *

Быстро пройдя кухню, Лерка постучал в маленькую комнату для прислуги. Не дождавшись ответа, толкнул дверь, и она неожиданно распахнулась. Лерка не помнил, когда был здесь, и мельком огляделся. Какие-то белые тряпочки покрывали чужие вещи, робко приколотая иголкой к обоям, висела фотография двух мордастых парней, аккуратно обведенная черным. Комната была светла и носила отпечаток чистоплотной старости. Мать всегда нанимала в дом старушек, и все они жили в этой комнате — неприхотливые, неслышные, безымянные, как бы и не существующие вовсе.

Лерка вспомнил, что сегодня пятница, за матерью прислали машину, и она с домработницей уехала в Военторговский распределитель за продуктами на неделю. Тогда скорым и твердым шагом он прошел в свою спальню, отвалил тяжелый ковер, вынул отмеченную паркетницу и из-под нее — ключ от верхнего ящика отцовского стола, подобранный еще в сорок первом году, в ожидании сдачи Москвы. Ключ вошел с тем усилием, которое на три года осталось в памяти руки, щелкнул и повернулся. Лерка достал именной шестизарядный пистолет, вынул из кожаной кобуры, похожей на футляр, и взвел предохранитель.

Теперь, когда он успел, и ничто больше не могло помешать и остановить его, Лерка передохнул. Возбуждение его улеглось, он обтер пистолет носовым платком и вышел из кабинета отца. Пистолет лежал в ладони ощутимой, телесной тяжестью. Лерка неторопливо обходил комнаты, с определив-

шейся ненавистью осматривая свой. дом. "Как ни убегал из него, а все держал, проклятый, — думал Лерка. — Ничего, теперь у меня надежный выход, уйду — и уже не вернуть ни маман, ни отцу, хоть целую армию посылай вдогонку. Свободен я теперь — и ведь как хорошо! И что я раньше не догадывался, как это хорошо? И страха нет, и врать больше не надо".

Отпихнув ногой дверь, Лерка вошел в свой кабинет, кинул взгляд на проклятые окна, выходившие во двор, пересек желтый ковер, открыл зеркальную створку платяного шкафа, отразившую его в рост, и задумался. Открытое, широкое во лбу лицо его, мягко сужалось к подбородку, глаза были спокойны и пушисты, только блестели сильнее обычного. "Лицо, как лицо, — решил Лерка. — Это я его из-за той фотографии в руках штатского ненавидел. Кащея плевком ненавидел. А по правде — ничего особенного, хорош даже, недаром маман восхищается. Но вмазать в него все же не мешает".

Он отступил на шаг, поднял пистолет и навел дуло под лоб своему отражению, но в последний момент остановился, почувствовал что-то заимствованное в этой стрельбе по зеркалу, что-то от чуждого и дурного вкуса. Он оставил зеркало, подошел к роялю, погладил его свободной рукой и поскорее вышел, испытав легкое чувство вины.

Миновав общие комнаты, не имевшие определенного назначения. Лерка оказался в туалетной маман, набитой очаровательными безделушками, вызвавшими у него презрительную улыбку. В своей спальной он заметил ремень бинокля, свисавший из неубранной постели, но бинокль не вызвал в нем отклика, только мелькнуло — грязный соблазн, приближенная плоть заголенной идиотки, вот на чем вся его жизнь сошлась, а ведь на звезды можно было смотреть.

Привлеченный мерным стуком маятника, Лерка вошел в гостиную, исполненную в охотничьем стиле - с полом, застеленным шкурами, и стенами в рогатых оленьих головах — и тут у него рука взмокла от ненависти. Он переложил пистолет, вытер руку о штаны и мельком взглянул на ладонь. Линия жизни широкой лукой огибала большой палец, обещая долгую жизнь, как растолковала маман в период увлечения хиромантией. Там, впрочем, были и другие, весьма забавные

на его теперешний взгляд линии, обещавшие славу, великую любовь и двоих детей.

"Интересно, — подумал Лерка, — у тех миллионов людей, что погибли до срока в этой войне — у них что, линии жизни рано пресекались? Или знак был о насильственном конце? У всех — знак? Да какой хиромантии придет в голову, что за три года можно десятки миллионов людей под нож пустить? Нет, не серьезно это, для дамочек наука, как бы Сахан сказал. Досужее все, сытое, легкомысленное, как эта гостиная, как весь этот дом, как все, что от маман идет".

Обойдя кресла, низкие столики и охотничьи трофеи отца, в жизни никого не подстрелившего, но ездившего на охоту по каким-то своим соображениям, Лерка подступил к никогда не горевшему камину, увенчанному угольными английскими часами. Они показывали четверть третьего, и Лерка отметил, что половина его часа истекла.

"Ну вот, я до вас и добрался, — обратился к часам Лерка, целясь в маятник и раскачивая руку с пистолетом в такт движению медного диска. — Хватит вам последние часы людям отбивать — насытились, поди, смертями — а свою я и сам на вас отобью".

Он нажал на курок, и часы взорвались, осыпались, зазвенели, и в навалившейся тишине что-то тонко и однообразно загудело. Лерка отыскал отброшенный маятник и нашел на нем косой след пули. Ему почудилось какое-то движение, он обернулся и вскинул к двери руку с пистолетом. Но это снова что-то очнулось в часах и торопливо засвиристело. Когда стихло, Лерка подошел к окну узнать, не вспугнул ли выстрелом народ, и тут внезапное теплое чувство овладело им. Окна гостиной выходили на аллейку, ряды лип в могучих июльских кронах волновались под ветром.

"Я по ним скучать буду, — подумал Лерка. — А вот сказать, что родину люблю и погибнуть за нее готов — не мог никогда. Хотя и готов, а вот сказать — совести не хватит, какая-то фальшь в этом есть. Знаю ли я ее, родину, чтобы гибнуть за нее так беззаветно? Вот аллейку эту я люблю, я на ней каждое дерево целовать готов. Я эту аллейку во всякое время знаю, в

самые постыдные годы она рядом была. Выходит, что погибнуть я готов за французскую аллею? За эти незадавшиеся а'ля Елисейские поля? Мило.

Мило-то, мило, но что, кроме нее, мне родина? Отцовское генеральство — что на кухню могу пойти и двадцать сосисок сожрать? Да я его генеральство превыше всего и ненавижу. Но что же тогда? Детство? Так я во все детство на одном месте больше трех месяцев не прожил — не помню его. Мелькает что-то, а со мной ли было, да где — черт разберет. Язык, или "что за прелесть эти сказки"? Тоже родина, верно. Так с Ариной Родионовной промашка вышла — маман все по-французски больше учила, добро, что бестолочь, не запомнил ни рожна. А вот старика одного запомнил, в деревне какой-то, где отец гарнизон инспектировал. Старик подслеповатый, вроде Сидора, из камыша свистульки резал и камаринского насвистывал. Другой мелодии запомнить не мог, но камаринского большой мастер был выделывать, а подопьет — так еще и с вариациями — тут и вовсе уши вяли. Маман по его поводу все Стравинского вспоминала — "Петрушку", и вообще, стиль "рюс" в декадентском искусстве. Папашу эти разговоры в икоту бросали. Смех. И что их с мамой связывает — ведь целую жизнь вместе. Не пойму. Однако суета в мыслях. Уж не боюсь ли? — Лерка прислушался к себе, но страха не обнаружил — только какие-то бесенята ликовали в душе. — Так вот, родина. Это, видно, все вместе — и аллейка, и язык, а главное — люди. Как к людям относишься — так и к родине. А я как? Люблю, конечно. "Тех, особенно, что тебя ограбили", — подсказали бесенята, визжа от восторга. — И тех. Только уж пусть примут мою любовь заочно без, так сказать, приватного объяснения. Вот, тут я и наткнулся на главное — в стороне я от людей, обложен этим генеральством чертовым. Заочен я. Когда в окно смотрел на Сидора с мальчиком — народ между ними видел, а себе места не нашел. Заочен — за очами, вне очей, оттого и сам слеп.

Вот и приспосабливаюсь к потемкам, понимания ищу — что для меня родина, да привязан ли к ней. Ребятам дворовым и в голову не придет рассуждать об этом. Для них эта связь не

мысль, она им естественна, как дыхание. А начни думать, как дышишь, — тут и задохнешься, глазом не моргнешь.

Вот и не приспособился. Сам слеп — и бродил в потемках. Темна родная земля, одна неправда в ней и зряча, везде достанет. Уж на что отец важная персона — и тот годами ночью по коридору бродил, часа своего ждал. Как не ждать, когда все друзья его канули. А может, и сам подсобил кому — человек нервный, с него станет. То-то войне обрадовался, как спасению. Миллионы гибнут — а над ним не каплет, ходит себе, "Вихри враждебные" мурлычет. Революционер дуев, как Сахан изъясняется. А не поймет, что только передышку получил, а кончится война — снова ему под дверями топтаться, шаги на лестнице слушать и дрожать зайцем — не за ним ли.

Вот на таком паскудстве мы с маман и сибаритствуем, а вокруг война, голод и неправда. У цековской помойки на Старой площади караул выставляют — идеологию защищать. Нет, не хочу я в такой жизни участвовать, шли бы они все. А менять ее — кишка тонка. Менять — это в Бога надо верить, или самого себя Богом считать. А я в одну музыку и верил — всегда, сколько себя помню. И находил ее повсюду — и в свистульке старика, и в рожке, и в хороводах. Еще мальчиком записывал: "Не кричит, не зовет она селезня, за камешком за сырым сидит ждет она". Что селезнь! Ребятишки на расщепленном пне играли, так до сих пор помню, в какой тональности щепа эта звучала. Жизнь — пространство звучащего хаоса, а музыка организует ее, возводит в новую, совершенную реальность, цельный и безграничный мир. Музыка сама родина, ее не придумать, не создать — в ней обитать надо. Вот, на пулю и надежда, как знать, вдруг я отсюда — прямо во Вторую симфонию Бетховена. Это бы здорово! А может, и вправду — никто ведь не возвращался. Как же, — одернул себя Лерка, — заслушались там Бетховеном, все вернуться недосуг".

Он резко отошел от покосившегося остова часов, направился в столовую, соединенную с гостиной стрельчатой аркой, обошел огромный, всегда накрытый на случай стол на двенадцать персон, заметил в углу под стеклянным колпаком

хрустальную "Санта-Марию", мутившую душу обманными мечтами, прицелился и походя разнес ее в стеклянный прах.

В буфетной Лерка наткнулся на огромное сооружение, давшее название комнате, и решительно поднял пистолет. Буфет был стар, роскошен и отвратителен. Четыре деревянные колонны поддерживали портик, в тонкие бронзовые рамы были забраны хрустальные дверцы, зеркала и стеклянные перегородки. Лерка прицелился в центр сооружения, мерцавший желто-синей гаммой, где преломлялись хрустальные сечения дверец, графинов, бокалов и зеркал. Он представил себе, как роскошно и полно, какой причудливой мозаикой звуков осыпется эта хрустальная цитадель, и хищно улыбнулся, но в последний момент опустил руку. В отличие от охотничьих комнат и каминов, буфет этот с детства присутствовал в Леркиной жизни. Он стоял тогда у бабушки и был связан с походом в гости — спешкой, крючком шубы, не попадавшим в петлю, машиной, метелью, контурами города, мелькавшими в продушину на заднем стекле — и один ящичек в этом буфете навсегда сохранился, как ожидание чуда — то ли конфет, то ли печенья, отыскивавшихся в нем внезапно, но всегда на одном месте — и Лерка пощадил свое детское ожидание и не стал стрелять.

Он закончил обход квартиры в кабинете отца, сел в глубокое кресло лицом к карте и положил пистолет на стол.

"Какая война огромная!" — вспомнил Лерка и переставил флажки на запад по последним сводкам.

"Вот уже и за границу вышли, победа скоро, да мне от нее ждать нечего. Хватит тянуть кота за хвост, пора записку писать, прощаться. А с кем? Отца терпеть не могу, да и с маман в ее театральные страсти играть не намерен. Прощаются — как прощенья просят у любимых, кого оставил доживать в одиночестве. А я если и любил, так себя самого — того мальчика, что бежал от непереносимой музыки. Но мальчик тот во мне, как на старой фотографии, его и в помине нет, он уже давно во мне теперешнем умер. А теперь и этому пора, последнему Это сколько же людей в одном человеке за жизнь его погибает? Подумать страшно, ведь лет семьдесят живут на круг!

Прямо, матрешки, только не раскроешь, назад не вытащишь — каждая меньшую вчистую пожирает, с потрохами. Самоедство какое-то! Да самоеды мы и есть, только не признаемся. Сказать такое моей маман — в обморок грохнется.

Но про мать я не буду думать, невмоготу и представить, что с ней станется, когда вернется из своего распределителя. Хорошо еще одна мать удерживает, да и та переживет. Переживет, — горячо убеждал себя Лерка. — Красотой момента переживет, романтичностью, ассоциациями с дворянскими самоубийствами. И трагедией своей скоро наслаждаться станет, если сама не застрелится на моем трупе, как в той театральной истории. Так я ей пуль не оставлю! А в окно она не бросится — не позволит себе на людях разбитой лежать, да еще в некрасивой позе.

И все равно, за маму еще один грех с собой беру. Спасибо, отец у меня такой, что не хватится, на каком свете его сын, — вот она, маленькая радость нашей большой жизни. И семейством я не оброс, тоже спасибо, а то и вовсе духу не хватило бы. Дети там разные, жены. Хитра природа, держит человеков, хочешь — нет, а живи, пока сама не прибрала. Только со мной этот номер не пройдет".

Лерка взял в руку пистолет и взгляд его снова упал на карту. Перед ним лежала страна. Громадная, перерезанная реками и буераками, вмятая низинами и поднятая возвышенностями, она была испещрена уколами флажков, обозначавших линию фронта, которыми прошла по ней война, не оставив живого, пощаженного места.

"Всех она достала, проклятая, — думал Лерка, — даже и меня, хоть скажи кому — обхохочатся. Не война — так от людей бы не прятался, не мучался пороком своим паскудным и стыда не знал. Алеша свое выбрал, погиб, а я все ничтожеством своим тешился.

Лерка поднял пистолет и, придерживая ствол ладонью второй руки, прицелился в черный круг, отмечавший на карте Берлин.

"Вот вам, гады! За жизнь нашу собачью — раз! За Алешу — два! За меня — три!"

Пули сели кучно, разворотили стену, и Берлин с окрестностями превратился в известковую дыру. Вот так, "велика Россия, а отступать некуда". Видно, тем одним мы и русские, что гибнем легко, да русскими-то и становишься, пистолет или острогу взяв. "И откуда столько русского в этой графиничке?" — вспомнил Лерка и рассмеялся было, но тут же одернул себя. — Будет. И весело с бесенятами, а прощаться пора.

Вот и повоевал я напоследок. Однако хватит, пять пуль выпустил, а последнюю — себе, как и мечтал. Будто напророчил я три года назад — пять пуль врагам, шестую — себе. Принимай, Алеша..."

Щелкнул замок, от входных дверей потянуло сквозняком и донесся приглушенный говор.

"Час", — отметил Лерка. Он нащупал стволом место на виске и с холодным любопытством спустил курок.

Окончание в № 78.

Саша СОКОЛОВ

ПАЛИСАНДРИЯ

Отрывок из романа

ОТ БИОГРАФА

Внучатый племянник сталинского соратника Лаврентия Берии и внук виднейшего сибирского прелюбодея Григория Распутина, обласканного последней русской царицей и таким образом расшатавшего трон, автор публикуемых воспоминаний Палисандр Дальберг (XX—XXI вв.) прошел по-наполеоновски славный путь от простого кремлевского сироты и ключника в Доме Массажа Правительства до главы государства и командора главенствующего ордена. Семь столетий, отделяющие нас от кончины мемуариста, не умалили ни исторического значения его огромной фигуры, ни идейно-художественных достоинств его фундаментальных трудов. Сегодня они предстают перед нами в ряду наиболее непреходящих духовных ценностей так называемой Переходной эпохи. И нет среди палисандровых книг ни одной, что не была бы нам как-то особенно дорога; но эта — дорога бесконечно. Отдавшись на волю исповедальной горячке, Дальберг с первой

Полностью роман выходит в издательстве "Ардис".

Copyright Саши Соколова

до последней строки творит исступленно, не останавливая бега пера ни перед какими условностями. Дотошно воссозданные им фрагменты интимной жизни правящей олигархии, в частности этюды о совращении именитых кремлевских жен, описания самоубийств, покушений, казней, заметки о путешествиях, детских проказах и старческой проституции — да и все остальные страницы воспоминаний читаются безотлагательно.

год 2757 *БИОГРАФ*

ОТ АВТОРА

Автор благодарит Судьбу, что любезно свела его на путях бытия с персонажами данной книги.

П.Дальберг

to whom it may concern

ПРОЛОГ

Вдруг случилось буквально следующее. Оклеветан клевретами, мой дядя в порядке отчаяния повесился на часах Спасской башни. И вот, единодушно рассматривая эту утрату в свете ее фатальной невосполнимости, летописцы расходятся лишь в деталях. Одни упомнают, что он воспользовался минутной стрелкой, другие настаивают на часовой. Часовой же не только ни на чем не настаивает, но не упомнит даже таких деталей, как собственная фамилия, имя, et cetera. А меж тем засекреченное резюме расследования, проведенного особой правительственной инспекцией, свидетельствует, что попытки всех и всяческих препараторов от истории расщепить данный волос — вполне смехотворны: ведь было без шестнадцати девять. Забавно также, что и по роду служебной деятельности Лаврентий, чье имя дружественные кебекуазы присвоили одной из своих леденящих рек, связан был с атрибутами Хроноса. Ветеран келейной организации часовщиков, он стоял

у ее истоков и был ее вдохновенный водитель. В кремлевской "Табеле о должностях и зарплатах" старообразным почерком казначея Морозова Саввы Никифоровича указывается, что с такого-то по такой-то год дядя мой, генерал-генерал специальных войск, состоял Генеральным Хранителем настоящего времени и имел на руках соответствующий документ.

В начале девятого дядя быстро направился к башне и предъявил его у дверей. Часовой взвился соколом. Многочисленные мемуары военачальников, даже если бы эти труды избежали обычной бумажной участи — тления, огня и забвения, что паче огня — не помогли бы в деталях восстановить обличив старослужащего Незабудки Якова Кузьмича, ибо именно так в силу иронии рока звали упомянутого гвардейца. Кое лишь где, словно огонек в родной ему украинской степи, промелькнуло бы замечание, что представал подтянут, молодцеват, но не более. А ведь тоже был гражданин. Тоже мыслил, как лучше, старался, на что-то рассчитывал, чаял, любил свой край. А ныне? Время сделало с ним свое неприглядное дело: сидит себе в богадельне, чудит, улыбается и скоро умрет. Бедный Яша, с каким жестяным безразличием проехалась по тебе передряга истории, гремя и шатаясь, как шарабан подгородного керосинщика, кровельщика и старьевщика, взятых в их триединстве.

Вы вольны спросить, а не занимаемся ли мы тут мифотворчеством, подтасовкой фактов, не творим ли себе кумира в форме этакого малоизвестного, что ли, солдата. Нимало. Прапорщик Незабудка, если хотите, реальнее нас, оторвавшихся от действительности небожителей. Он зримей, будничней и земней. На днях, навещая несчастного в упомянутом заведении для гвардии пожилых, мне показали его персональную карточку. Год, месяц и даже число рождения Яши целиком соответствовали году, месяцу и числу рождения меня самого. "Ровесники!" изумился я. "Но какие разные судьбы". Надеюсь, что это душераздирающее совпадение поможет Вам утвердиться во мнении, что Незабудка безусловно наличествовал, пребывал во плоти, был роста, возраста, пола, был — давайте не побоимся избитости выражения — человеком. Хотя был, разумеется, и отменный службист.

Вот и теперь, предъявителя беспримерно зная в лицо, но и отчетливо сознавая устав, часовой зубами снял варежку и полистал документ. Изображение корреспондировало. А подпись к снимку внушала не только доверие, но и трепет: "Хранитель!" Часовой содрогнулся и конвульсивно отдал часовщику последнюю честь.

"Отдыхайте", махнул рукою Лаврентий. Доброта генерал-генерала не знала мер никогда, и войска любили его, как умели.

Не мешкая, он взвинтил себя винтовой внутрибашенной лестницей до отказа и смаху толкнул входную, броней одетую дверь. Та вела в каземат механизма. Привычный запах казенного времени, сдобренный приторным ароматом особого часового масла, сработанного на маслобойнях Поволжья, показался Хранителю тошнотворно застойным. Сомнений в правильности принятого решения не оставалось: хватит, хватит, довольно.

Сегодняшнее заседание было последней каплей. Маленков упрекнул в неуплате масонских взносов, паршивец Шепилов сказал, что Лаврентий манкирует прямыми обязанностями, а этот офицеришка, этот жуковский лизоблюд Захаров обнаглел до того, что поставил ему на вид несвежий, якобы, подворотничок. А кто-то даже подставил ножку, когда в знак протеста Лаврентий чуть ли не выбегал из ложи. Неслыханно!

"Лаврентий!" кричал ему Ворошилов. "Куда вы?"

"Некогда мне тут с вами", отрезал Хранитель.

Карьеристы, завистники, горячился дядя, не брезгуют никакими приемами. Или он сам споткнулся? Неважно, не суть. Ах, Иосиф, Иосиф, зачем ты оставил нас, генацвале.

Хотелось курить.

Безвременная кончина Генералиссимуса выбила из колеи. Который уж месяц не прикасался Лаврентий к любимой мингрельской лютне. А ведь бывало не проходило и вечера, чтобы задумчивыми пощипываниями иль пиццикато не извлек он из инструмента хоть пары аккордов. Где те вечера? Нет их. Да и вообще жизнь Лаврентия сильно переменилась, дела его стали табак, и всякий раз, как он разминал в музыкальных пальцах своих тонкую пахитоску и поджигал ее ломкой спичкой, он сознавал факт крушения с особенной ясностью. Поэтому в последние сроки дядя не баловался и курением, практически бросил его. Но сейчас, накануне конца, факты уже не имели значения; и он закурил.

Зима его треволнений была, как говаривало простонародье, сиротской. Морозы часто сменялись оттепелями, которые характеризовались длинными, он бы сказал, неприлично длинными для столицы сосульками. Тем не менее цапфы и шестерни, молоточки и маятники, пружины и храповики кремлевских хронометров взаимодействовали монотонно. Не подводили и градусники, и форсунки, и капельницы. Печать ухода лежала на всех устройствах, частях, все блестело или лоснилось, двигалось или стояло на месте, тикало или молчало, однако не интересовало уже Хранителя.

Он припас бечевку заранее. Верней, не припас, а приметил. На ней висел аварийный фонарь, освещавший цепную шахту. Закурив, Берия наклонился над ней и внимательно изучил пролет сверху донизу: ни фонаря, ни бечевки. Тогда, заметавшись мыслью по древу, Ревнитель вспомнил, что третьего дня их в числе остальных вспомогательных приборов и инструментов свезли на инвентаризацию в Палату Мер и Весов. "В бывшую Оружейную", подумал он в скобках; он был неисправимый педант.

Судорога огорчения свела генерал-генералу челюсть. Куранты забили половину девятого и оглушили. Он сплюнул, выбранился и осмотрелся. И тут Фортуна, что в образе костяной старухи с косой незаметно подглядывала за ним откуда-то из угла, осклабилась и указала Хранителю на сыромятный ремень, который известным образом соединял стальную опору конструкции с одним из маятников. Тот был худо отрегулирован, и, работая по принципу поводка, ремень на каждом шагу одергивал, окорачивал маятник, суживал ему амплитуду, не позволяя пойти вразнос. Лаврентий никогда не отказывал себе в метком профессиональном речении. "Вразнос", повторил он, испытывая сейчас особенно бережное отношение к слову вообще и в частности. "Вразнос", отозвалось эхо. Реверберация в башне была поразительная.

Будучи при параде, Лаврентий вытащил кортик и, приноровившись к движению маятника, срезал ремень. Устройство петель не отняло и пяти минут, после чего до без шестнадцати девять оставалось четыре свободных. Он знал, что набросит крепежную петлю не на одну, а сразу на обе стрелки, поскольку одна, вероятно, не выдержит: тяжесть тела заставит ее обратиться вспять, и она опустится в положение получаса или шести, и петля соскользнет с нее. И он, пожилой государственный человек, ровесник целой эпохи, мешком упадет на зубья брандмауэра и в кровь разобьется. Трудно вообразить себе больший конфуз. Нет, концовка жизненной партии, хотя ты и проиграл ее, потому что любая смерть — проигрыш, — должна быть красивой, наглядной и вопиющей. Пускай непредвзятый потомок, листая пожелтевшие отчеты криминалистов, воскликнет: "Вот дивный эндшпиль!" — и залюбуется вчуже.

Но — земляки! Сын, внук и правнук закавказских огнепоклонников, Лаврентий предвидел, что родственники и односельчане не похвалят его за избранный способ: огнепоклонник обязан погибнуть в огне, чтоб в огне и воскреснуть. Так поступали и поступают все наши высокогорные предки. Обычай суров, но прекрасен. Если тебе окончательно нездоровится, если состарился, жалок и немощен, или же бесконечно устал от всего земного, собери себе хворосту — разведи на закате костер — и подобно Зевесову сыну — подобно Фениксу — отдайся всеочищающему милосердному пламени. И да пылает имя твое на устах, в очагах и во взглядах звезд.

Однако дядины обстоятельства были стесненными. Ибо где же набрал бы он нынче хворосту, где развел бы достаточный для совершенья обряда костер. Перелески и рощи Кремля зимою сквозят и легко просматриваются соглядатаями, а ехать на дачу, за город, значило бы ввязать себя в досадную проволочку, чреватую тотальным фиаско. Да и тоскливо теперь на даче — муторно, нехорошо. Нет, только здесь. И немедля.

Так называемая ремонтная скважина циферблата, имевшая форму замочной, предназначалась для выхода на циферблат. Лаврентий Павлович подошел и открыл ее.

Продутый умеренными ветрами, Эмск возник перед дядей своей юго-западной панорамой — дохнул на него городской распутицей, неуютом складских помещений, жилищ, больничной карболкой, строительными работами, хлебной гарью, квашениями и солениями, ворванью и рогожами, бьющимся на веревках бельем, пищевыми отбросами, дегтем, свалкой, Йошкар-Олой — заторчал фабричными трубами — трубами механических мастерских и пекарен — котелен — слесарен — ржавыми шпилями и крестами — куполами и башнями — и весь преломился он в лужах — в сточных канавах — в сочащейся из-за горизонта тягучей, времяобразной, как жизнь, реке цвета сукровицы и разбавленного спекулянтами кваса.

"Пора", сознавал Хранитель. "Пора".

Без восемнадцати девять он сбросил шинель и вышел на цифру восемь. Высота охватила его. Впервые за десятилетия он наблюдал пернатых, паривших не над головою, а где-то внизу, как в глубоком ущелье. За скверной и суетою равнинной рутины Лаврентий совсем позабыл о подобных явлениях и теперь, встрепенувшись от забытья, подумал, как страшно, должно быть, он одичал на помпезной службе своей — размяк, подурнел, отвык от природы.

С отвычки подташнивало. И чтоб не упасть, он вынужден был ухватиться рукой за минутную стрелку, которая уже наползала на часовую. А часовой расхаживал внизу по брандмауэру, сутулясь по отчему дому и глядя под ноги. Когда же стрелки сошлись окончательно, Лаврентий, прижавшись спиной к циферблату, набросил на них крепежную петлю. Другая, нашейная, заняла свое место также. Заученным жестом, каким зачастую затягивал узел галстука, он, почти не заметив отсутствия зеркала, затянул их.

Затем оставалось решить вопрос о пенсне. Было три варианта: пенсне не снимать; снять и сунуть в карман; снять и выбросить. Рассматривая указанные возможности, он догадался, что независимо от того, на чем остановит свой выбор, выбор этот станет его последней волей, однако за неимением палачей, исполнить ее придется ему самому. Взвесив все про

и контра, Хранитель выбрал последнее — выбросить; но осознал вдруг, что в спешке оставил пенсне на сенатской вешалке. И удивился, заметив, что втайне, исподтишка, пеняет себе за оплошность.

"Прощайте!" ходульно подумалось ему тогда о семье. Отрешенно-улыбчивые, словно в фотографическом ателье, лица матери, дочери и жены слились в одно среднеродственное, но ненаглядное. И все же последняя мысль Лаврентия была о внучатом племяннике, которого он, несмотря ни на какие перипетии в их отношениях, по-отечески беззаветно любил.

"Палисандр, Палисандр, дерзай же!" умогласно воззвал он ко мне в Новодевичий монастырь, балансируя на пороге небытия. И по-детски всплеснув руками, шагнул в него.

КНИГА ИЗГНАНИЯ

За годы потянувшегося затем безвременья и сменивших его социальных бурь из прохудившихся кранов нашей твердыни воды утекло — на редкость. Вот и сегодня, внаброс окрыляя себя крылаткой, паки и паки влачишься в Комендантскую башню живым меморандумом: "Все течет! Пришлите специалистов!" А комендант лебезит, заискивает, дескать, о да, Ваша Вечность, уже высылаем, уж выслали. Однако Улита все едет, и факт остается фактом: беспечности кремлевских водопроводчиков можно лишь позавидовать. А гофрированное косноязычье дождя все не рвется, мигрень разыгрывается как по нотам, и утро без тени сомнения преобразуется в вечер.

Заосеняло и мне. Сам — сырое ненастье, в сознании крайней задолженности грядущему, я* поспешаю предать бумаге

* Биограф, смею надеяться, попустит нам это амикошонское перволичие единственного числа здесь и далее; равно как здесь и далее — примечание автора. — П.Д.

обстоятельства моей жизнедеятельности. Поспешаю, да не спешу. И не краток я буду, но обстоятелен. Ибо — что бы там ни брюзжали завистники — на великом пути замечательна всякая мелочь, и любая, казалось бы, чепуха — знаменательна.

Явившись на свет в семье потомственных руконаложников, а говоря без ужимок — самоубийц, я годам к десяти-двенадцати впадаю в сплошное сиротство, нарушаемое лишь визитами опекунов, чьим вниманием дорожу все менее и забот которых все более убегаю. Баловень судеб, я напоминаю себе пресловутого жадностью рыцаря, не желающего ущемления своего блистательного состояния; в нашем случае — состоянья свободы, в неверном мерцании отроческих ночников опознанного как осознанная необходимость, во славу которой редела и будет редеть не одна германская борода.

Отчужденность, благоприобретенная в ходе побега от ничтожных и ненавистных опек, сказалась. Довольно долго я рос вдали от страстей и сердечных привязанностей. И, может быть, до сих пор так и вкушал бы я от наивных утех невинности, если б однажды не пережил озаряющего потрясения и не вспомнил, как некая многоопытная особа из числа беспринципных родственниц развратила меня, совратив. И хотя случилось это в ином, предшествующем воплощении, нынешние мои чувства и быт бурно преобразились.

О Мажорет! неистовая, циничная и прожженная "дама из Амстердама", единоутробная сестра моей прежней матери. Сколь искренне жаждется мне, чтобы ты не избегла признаний измызганного тобою, едва не рехнувшегося от скверны твоих умений, от квелых и дряблых, но таких малярийно знобящих прелестей, от бульварных твоих романов с лакеями и форейторами, от попранности, поруганности тобой. Ибо в своих признаниях я, в частности, обличу и тебя. С присущей мне прямотой я поведаю здесь всю правду о том, как это бы-

ло — как именно — как оскорбительно, томно, истошно. Как если бы это случалось не с нами. Не с нами, а чуть ли не с жабами. Случалось не так, как случалось. И даже совсем не случалось. Как ветер на галереях качал гирлянды китайских фонариков, играл на ксилофонических ветровых колокольчиках, бредил в жалюзях, растворял все двери, и тени ходили по залам, по их анфиладам, свидетельствуя о наших кромешных радениях. О, сколь дерзко это было с твоей стороны, Мажорет, — дерзко, кровосмесительно, неуместно.

Дерзай и ты, мое непритязательное перо, воздай обольстительнице за соделанное, сорви с нее фарисейские облачения и, обнажив ей прожорливое межножье, отмсти бесчестием же. Возжелав возмездия, я позволяю себе не верить, что мертвые сраму не имут. Не верю! Сие есть ложные слухи, муссируемые сторонниками усопших, живо заинтересованными в их посмертной реабилитации. И поскольку уж мы заговорили о смерти, поговорим еще.

Незнакомый Биограф! Сказать, что старуха с дамасской косою гостила в наших фамильных чертогах нередко, значит глумливо блеснуть литотой, ее клинком. Генеалогическое древо Вашего корреспондента, уходящее своими корнями в кремлевский подзол, сибирский золотоносный песок, грузинский гранит и шотландскую глину, есть древо такого печального толка, что — как шутил Лаврентий — это уже не дерево, а готовая виселица. Поводом к чисто кавказской шутке его служили обычно надгробия на могилах наших с ним родственников, тут и там видневшиеся по всему кладбищу — будь то Ваганьковское, Востряковское иль Новодевичье. Хотя в смысле правительственных охот, проводившихся регулярно на данных угодьях, последнее было несомненно угоднее остальных. Если Вы искушенный стрелок, преимущества Новодевичьего Вам очевидны, и Вы согласитесь, что переоценить их немыслимо. Если же нет, то извольте взглянуть на план. Обратите внимание, что, несмотря на то что у меня нет решительно никакого желания Вам растолковывать, что Новодевичье кладбище живописно разбито на территории

одноименного монастыря и как бы заподлицо с ним обрамлено высокой стеною с бойницами, башнями, нишами и другими приметами фортификации, я уже, тем не менее, растолковал. В чем и раскаиваюсь, так как делать это гораздо проще, нежели перемарывать целый лист. Весь фокус, однако, в том, что, взойдя ввечеру на стену. Вы можете различить на фоне зари — не тянет ли, не летит ли уж дичь, и, если уже летит, то есть тянет, — поспешно спуститься, укрыться в нише и бить, с позволения выразиться, в угон. На тяге — так исстари называют не только эту разновидность охоты, но и многочисленные отчеты о ней в изящной словесности. Аксаков, Тургенев, Пришвин — нам дороги их имена.

Что же касается перемарываний вообще, то, верите ли, не стоит свеч. Сколько ни переиначивай — все равно не оценят. Так что в целом работаю сразу набело — потоком сознания, слов. Испытанный, верный способ. Воспаляя воображение масс, им баловались еще Бальзак, Боборыкин, Сковорода. Хорошо нам, писателям: пишешь, пишешь и вдруг — бессмертен. Хотя и не обязательно.

Раззудите свое самодовлеющее седалище аллеями книгохранилищ, сих колумбариев добрых надежд и тщеславий. Указывая на бесконечные корешки, спросите Служителя: "Как сложились дальнейшие судьбы усопших? Не на ветер ли побросали они бисер слов?"

Червяк, буквоед, глумливец, Служитель распоряжается захоронениями, как своими собственными, выдавая прах на дом на срок до двенадцати дней. "На ветер", ответит Служитель. "И те, и другие благополучно забыты".

"Благополучно? Быть может, вы хотите сказать, забыты коварно, исподтишка, без суда и следствия, при закрытых дверях?"

"Мужайтесь", скажет Служитель. "Они забыты за обыкновенной ненадобностью. Распространенное среди экзальтированных натур впечатление, будто достаточно умереть, и имя ваше просияет в веках, не подтверждается практикой. Вот уже сотни лет, как в хранилище почти никто не заглядывает. Увы вам, кропателям," скажет череп Служителя, "иноходец Истории блед и необратим".

Тут Вам сделается ужасно, и Вы встрепенетесь. Видение оборвется, но неумолимо продолжится явь: заседания магистрата, ложи, торжественные литургии, приемы, парады, награждения отличившихся, именины и тризны. Что говорить, иноходец Истории требует жертв.

Споспешествуя ему по мере сил во всех его направлениях, сыздетства я увлекся хрупкими, тлеющими страницами первоисточников. Читаю. Рассматриваю диаграммы и карты, картинки и схемы битв. Грешным делом и сам играю в солдатики. Около пятидесятого года формирую потешный полк кремлевской охраны, по образцу петровского, и сам лета напролет — за исключением лет послания — командую им до глубокой старости. Пехота — это пречудно. Это звучит, отзывается в сердце, чарует. О ней, о славе ее оружья пристало творить миниппеи. Люблю и морские сраженья. Ценю их торжественность, плавность, распахнутость их театров.

И все-таки в целом история есть типичная кантовская вещь в себе. Если не замечать известной апокалипсичности ее интонаций и даже некоторой апоплексичности их, то прежде всего отмечаешь тот неслучайный, быть может, факт, что она преисполнена скрупулезно датированных, но незнакомых и непознаваемых происшествий. Взятые по отдельности, они озадачивают; вкупе — обескураживают. В результате не знаешь, что и подумать — тревожишься — ожидаешь дурных известий — посматриваешь на дорогу — оглядываешься — удваиваешь посты. Но поскольку надо как-то определиться, встать в мало-мальски ученый строй, подравняться, то принимаешь волевое решение и формулируешь кредо. Я лично решил для себя полагать и могу поклясться, что история есть процесс непрестанной ломки. Одно неизменно сменяло другое, другое — третье, а пятое, как говорится, десятое. И всегда были люди, народы, публично питавшие друг ко другу симпатию или неприязнь; а где-то поблизости всегда оказывались какие-то люди, писавшие касательно этих взаимоотношений; и не переводились люди, писавшие об этих писавших, а также писавшие о писавших насчет писавших. И вот нам уже зевается, дремлется, читаемое, при всем к нему уваженьи, валится из рук, академическая* мурмолка сползает нам на чело, и мы опять засыпаем.

Такова история моего увлеченья историей. Спору нет, ухажер я стал вялый, квелый, но знали бы Вы, сколь прилежно я волочился за этой капризной барышней во дни дерзновенной пряности. В подтвержденье сошлюсь на собственные послания к Великой Княгине Анастасии Романовой,** собранные, если не ошибаюсь в пятнадцатом томе юношеских сочинений.

"Друг мой! писал я в одном из тех писем. "Вы спрашиваете о моем отношении к гордой Клио, к суровому, но справедливому прошлому нашего родного Отечества. Что мне ответить? Я — с Вами. И Вам подобно, всей задумчивой русской душой прилепляюсь к далекому близкому, к дыму пращурова табака, к идеалам былого".

"Вместе с тем", сообщал я далее, *"есть в нашей будничной повсеместности круг реалий, к которым питаю я слабость в такой же мере. Вы, может быть, оскорбитесь вчуже за мелочность, приземленность пристрастий моих, но Вам я не могу не открыться и первыми в том кругу назову калоши".* (Курсив мой. — П.Д.)

Ю.В.Андропов, курировавший тогда мою корреспонденцию, назвал выделенное здесь курсивом вольнолюбивой лирикой, и во избежание трений пришлось опустить сей абзац в том примечаний и вариантов. Однако же я отрекся не от убеждений — от слов. Так что перед судом все той же истории совесть моя чиста. И не таясь, говорю ему просто и внятственно: "Да, я люблю калоши".

Люблю, шагая слякотным предвечерьем с каких-нибудь образцово-показательных похорон, вслушиваться в покваканье заморских своих мокроступов и думать о чем-нибудь абсолютно не относящемся к случаю. На заутренней службе в Елоховском храме и в суматохе служебного дня благодарно

---

* Поздравьте-ка, кстати: Ваш покорный слуга — действительный член сорока семи академий.

** В замужестве — баронесса Чавчавадзе-Оглы.

улавливаю их лаковое благоуханье, навевающее полузабытые запахи марокканских фиакров, тасманских каучуковых плантаций, терпкие ароматы айсорских сапожен и проч. И гуляю ли в оголенных до неприличия пущах имени Горького, предаюсь ли увеселениям в кущах Нескушного, мысль моя поминутно обращается к ним: "Мокроступы!" С веселым сердцем читаю и перечитываю я их следы, отпечатанные на песчаных дорожках, безоговорочно принимая всю их (подошв мокроступов, — П.Д.) пупырчатость и ребристость. Мне привычно сдавать свои мокроступы ворчливому церберу оперных гардеробов, привычно являть себя в астматическом полумраке прелюдий в глубинах оперных лож, но привычно же, не перенеся разлуки искусством, этой жантильнейшей из разлук, торопливо обрушиться обратно в фойе — вручить гардеробщику хладный еще жетон — залучить мокроступы — обуть — выйти вон — возвратиться — вручить на чай — выйти вон — и выйдя, осознать, что — чужие. И снова вернуться. Вернуться — выбранить гардеробщика — вытребовать свои — в наказание за разгильдяйство изъять чаевые — переобуться — и — вон — в промозглую эмскую хмарь и сумятицу — выйти в намерении никогда уже более не ходить в спектакль, пой там хоть сам Поваротти, пляши Нуриев, Барышников или шуми Шостакович — пускай меня и связала с ними блестящая закулисная дружба.*

И я обожаю, вернувшись в конечном итоге из этих несостоявшихся театров или же с состоявшихся тризн, приказать, чтоб наполнили ванну — да поживей — и непосредственно с холоду, ничего особенно не снимая, поскольку все равно все стирать, погрузиться в нее, в ее зеленоватую хвойность и муть, и немедленно отойти всею сутью от суетных, недостойных тебя треволнений и передряг, этих побочных издержек зрелищных и музыкальных мероприятий. Хорошо потребовать кофе, ликеров, свежих газет и, не мешкая, понаделать из ваших, г.г. борзописцы, досужих умыслов — кораблей: боевых и опасных.

---

* Связала навеки!

Люблю, повторяю, морские сраженья. На их театрах события разворачиваются куда бодрей. Бывает, воспользовавшись численным превосходством противника, канонерские мыльницы "бледных" неожиданно начинают и методически уничтожают такую армаду "серых", как "Биржевые Новости", "Несчастные Случаи", "Заметки Фенолога", "Смесь" и "Работы по Найму", после чего береговая артиллерия "пегих", ведя перекрестный огонь, топит бледные мыльницы. А той порою две наши глубоководные заслуженные субмарины, отдаленно напоминающие пару наших глубоких калош, возлежат на дне и осуществляют благосклонное наблюдение. А бывает — да мало ли что бывает в пылу батальи. Но что бы там ни было, по-крупповски неусыпно заботьтесь о боеприпасах! Огонь ведется из всевозможных орудий кусочками мыла, любезно изрезанного на них орудийной прислугой — она же и Ваша собственная.

Небезыинтересно в настоящей связи отметить, что по мере возвращенья на родину в том незабываемом девятьсот девяносто девятом году мой денщик, а попутно и банщик Самсон Максимович Одеялов подавал мне в походную ванну мыла разных держав в той последовательности, в какой мы их миновали, поскольку снарядов хватало в среднем на два — максимум три — перегона. Сменялись и национальные стяги, условно реявшие над флотилиями неприятелей. Так, приобретенных в Гибралтаре газет достало лишь до Мадрида, с мадридскими мы едва дотянули до спасительного Аустерлица, а с парижскими с грехом пополам доползли до Брюсселя. А так как маршрут наш пролег прощальным зигзагом чрез многие европейские страны, то в ходе маневров эскадры всех этих карликовых государств были потоплены. И не любопытно ли, что газета, уведомившая меня относительно гибели моего дедоватого дяди и заодно смутившая все течение моего сиротского бытия, была в равной степени чужеродной.

В те сравнительно отдаленные сроки Опекунский Совет временно выдворил меня из Кремля за недостойное поведение и вменил мне в обязанности непокойную должность ключ-

ника правительственного Дома Массажа, который теперь размещен в старом здании Генерального Штаба, что на Гоголевском бульваре, а в дни моего ссыльного отрочества ютился в кельях Новодевичьего монастыря, более или менее распущенного. Как-то раз, отдежурив, решил принять грязевую ванну. Приемлю. Дремлю. Вдруг стучатся.

"Кто там?" раздраженно окликнул я, полагая, что то какая-нибудь массажистка пришла беспокоить меня по поводу ссуды на лондонское белье или чего-нибудь в том же ничтожном духе. Здесь следует, вероятно, заметить, что модницы наши делились на "перманенток", или "послушниц", то есть безвыходно проживавших в Доме, и "прихожанок", называемых еще "визитерками", причем перманентки казались особенно требовательными и капризными.

"Кто же там?" повторил я вопрос, застегивая на себе верблюжью пижаму. Одетые грязью пуговицы слушались плохо. Они выскальзывали из грязных пальцев и не попадали в отверстия петель. А если и попадали случайно, то устрицами выскальзывали из них, тоже грязных. Иной на моем, по выражению Пастернака, "бедственном месте" давно бы уж плюнул на эти пуговицы и приветил гипотетическую массажистку с распахнутой грудью. Обычаи заведения допускали не только подобные, но и вполне бесподобные вещи. Подчас в новодевичьих ваннах, бассейнах и саунах творилось непередаваемое Но я никогда не участвовал в тех вакханалиях. Больше того. Полагая мытье и купание исключительно частным делом, я не уставал и не устаю запирать за собою двери соответствующих помещений и навсегда сохраню за собою же право плескаться одетым — в халат ли, в пижаму, а если потребует ситуация, то и в броню. Ибо стены, почтеннейший, имеют не только уши, но и специальные смотровые глазки, не говоря, об означенных выше дверях с их замочными скважинами. Допускаю, Вам, может быть, наплевать. Вы, может быть, даже поклонник того философского направления, представители коего величают себя нудистами. Что ж, тогда извините. Тогда нам в пору прощаться, так как нам вовсе не по пути. Так как интимно разоблачиться при посторонних — а посторонние, как нетрудно подметить, суть все — не мыслю. Со времени осознанья себя исключительной личностью я старался не обнажаться даже пред собственным отражением, пусть это и было достаточно трудно, поскольку практически все кремлевские туалеты и спальни были тогда озеркалены. От пола до потолка. Включительно. И проклял бы я нашу помпезность и роскошь, и давно бы ушел из Кремля с кочующим мимо цыганским табором, если бы не сознание долга: сначала — перед Опекунским Советом, потом — перед Родиной. Долг. Ведомо ли Вам его чувство? Оно щемяще.*

Свой долг перед нашим отечеством я усматриваю во всяческом поощрении его неуклонного продвижения вверх по служебной лестнице в направлении истины, света, добра. Подгонять не надо. Однако следует бережно наставлять и способствовать. Ведь оно еще так удивительно молодо, хрупко и уж хотя бы поэтому не без греха. Оттого-то и за отечество, кстати, мне тоже бывает смутительно. И, наверное, наоборот. Нередко мерещится, что народ мой не меньше конфузится за своего полномочного сына, чем тот за него. И думаешь: что за притча? Чем я нехорош ему? Косоглаз? Положим. Но Карл Двенадцатый — тот и вовсе был паралитик, а — на руках носили. А Сулла, Корнелий Люциус, которого буквально забрасывали цветами, когда он скакал по Аппиевой дороге, — разве он не страдал паршою? Нет, дело тут, кажется, не в обличии; иначе за что бы прозвали меня Прелестным?

И спрашиваешь: "Скажи мне, народ мой, откройся — не худо ли я справляюсь с обязанностями?" Молчит, кажет долу глаза народ мой. А скажет — обманет. Хитер. Хитер и робок народ мой перед сыном его. Да и тот не смелей: мнется как-то, тушуется. И выходит, взаимно мы с ним стесняемся и робеем. Словно собственных отражений. И нет того табора, с

---

* Мне не хочется, впрочем, чтобы у Вас сложилось обманчивое представление, будто бы я играю на Ваших патриотических настроениях, параллельно бравируя врожденной застенчивостью. Ничуть. Откуда Вы взяли. Я просто спросил.

которым нам друг от друга уйти. А если и есть, то — куда же?

"Так кто же там?" повторил я опять.

"Брикабраков", ответил мне его голос.

Бельгийские графья де Брикабракофф обретались когда-то в Париже, достаточно тесно общаясь с семействами Бриков и Браков, над чем в те безоблачные десятилетия столь принято и приятно было подтрунивать. Страницы вечерних альбомов хранили милейшие эпиграммы на эту тему, экспромтом начертанные меж партиями в серсо и трик-трак, придававшими брикабраковским пятницам и средам какую-то неизъяснимую прелесть. "Рябит в очах от Бриков, Браков в салоне добрых Брикабракофф", съязвил, например, В.В.Маяковский, сам его записной завсегдатай.

Но среды и пятницы немилосердно оборвались, когда торговое судно семейного процветания с партией исландских ландышей на борту налетело на риф, разбилось о корабельный бунт и вместе с обломками, отпрысками и остатками роскоши бельгийцев выбросило к другим берегам.

Жили бедно, ютясь и лаясь. Страницы бесценных альбомов в отчаяньи разодрали на самокрутки, а дворянский партикул де продали нуворишам Птичьего рынка за совершеннейшие гроши. Парижанка до мозга костей молодая графиня пошла по рукам, обрусела, и я познакомился с ней на одном из злачных вокзалов, куда меня, монастырского ключника, регулярно командировали за "визитерками" для нашего заведения.

"Жижи", изысканно назвалась она, протягивая теплую руку, обтянутую нитяной потертой перчаткою с левой руки. Вечерело, накрапывало. Люд, шедший мимо, был щупл, приезж, и все это, вроде бы, располагало, но сердце мое уж пленилось турчанкою Ш., благочестивой, но трепетной капитанской матерью, так что с француженкой сразу все кончилось, не успев и начаться. Ведь, не в укор будет сказано каким-нибудь лавеласам, я — однолюб. А главное — она была не в моем амплуа.

Однако дебют Жижи в Новодевичьем случился удачен.

Наутро ей предложили ангажемент, постоянную должность "послушницы", и вскоре она подвизалась уже на первых ролях. Карьера ее была решена. Массажируя влиятельных протеже, Жижи оказалась в фаворе и выхлопотала синекуру для своего мужа Оле, который и постучался ко мне в то однажды.

Когда не двояк, круг обязанностей Оле Брикабракова представлялся трояк. И если, с одной стороны, Брикабраков работал вестником — доставлял в Дом Массажа известия и мелкую корреспонденцию из Кремля и обратно, то с другой, там и сям специальными веществами губя насекомых — клопов, комаров, тараканов, он фигурировал как опылитель, опрыскиватель, за что получил прозвание Пульверизатор. Летуч и ветрен, словно наполеоновская кавалькада, он беспрестанно порхал, посвистывал, опыляя и семеня, собирая дань сплетен и рассеивая ее на всех сквозняках. И стоило упомянуть его имя в гостиной, трапезной или бильярдной, как Брикабраков через минуту являлся там. Обладал ли он редкостной легкостью на помине или просто всегда и повсюду стоял за портьерой, почтительно вслушиваясь в разговор, и не было ли это третьей обязанностью его — неясно. Да и какое нам дело!

Оставив попытки по-человечески застегнуться, я вытянулся во всю мою поразительную длину и весь, не считая облепленной грязью главы, стал под грязью невидим. И лишь затем дернул шнур: щеколда отскочила: во исполнение собственного предсказанья возник Брикабраков. Но если бы в месте действия было чуть-чуть темней, то я бы навряд узнал Брикабракова — настолько тот оказался самим собой, настолько типично по-брикабраковски выглядел, двигался, говорил. В своей вызывающей подлинности он казался недостоверен, фальшив.

"Bonjour", отвечал я ему по возможности в нос и картаво.

"Все сибаритствуете?"

"Напротив: лечу себорею. Присаживайтесь".

Оле примостился на канапе. Он был моложав. "Представь-

те", заметил он, "составилась партия в покер, и девочки ободрали меня, словно липку. Вот не руте!"

"Примите мои соболезнования", холодно молвил я, никогда не игравший на деньги.

"Вы знаете, между прочим, как прозвали вас эти канальи?" сказал опылитель.

"Прозвали?" напрягся я внутренне. "Но - за что? Разве я подал повод?"

"Не будьте наивны. Женщинам здешнего толка повод не нужен. Достаточно им слегка приглянуться — и еще одного доброго имени как не бывало. А в вас, красавчик, они влюблены, будто кошки. Почти поголовно".

"Гиль!" хрипло сорвался я в дисконт. Металлическое корыто, угрюмо висевшее на стене, откликнулось целым концертом для контрабаса с порванными струнами.

"Факт", сказал Брикабраков. "Особенно перманентки. Прямо сбесились. Но самое поразительное — другое. Самое поразительное, что вы этим фактом бездумно пренебрегаете, не принимаете его к рассмотрению. Вы — ключник, любезнейший, осознайте. Вы — по древней традиции — есть лицо, начальствующее над всеми монастырскими скважинами. Причем не только, и даже не столько в прямом, сколько, знаете ли, в переносном смысле". Жест, которым Оле проиллюстрировал свою мысль, был малоприличен. И граф продолжал: "Да, ваша должность двусмысленна. Тем и трудна, я знаю. Зато она символична, почетна. Зато вы служите не каким-нибудь клерком на побегушках вроде любого из нас, неудачников, а вы служите символом сокровенной власти и воли к ней. Однако вместо того чтоб использовать свое служебное положение по назначению, вы его не используете. "Dommage", сказал Брикабраков, "dommage". Нет, не зря они вас прозвали Лемуром".

"Лямуром?"

"Лемуром", поправил он. "Вы — Лемур, дорогой мой, подумайте".

И тогда я сказал ему: "Вы, наверно, ослышались, граф. Тут, в России, не может быть никаких лемуров. Тут слишком холодно".

"Не играет роли. А кроме того, на лямура вы тоже смахиваете. У наших стрельцов, в караульне, висит, если вы обратили внимание, гобелен — мальчик с луком и крыльями. Обратили? Типичный вы. Правда, вы несомненно крупней и старше, да ведь Бог их всех, купидонов, знает, какие они на практике. Говорят, отдельные особи бывают довольно матеры. Так что не спорьте: вы и то, и другое. И то, и се. Вы двуедины. Вернее, двулики. Двуликий Дальберг. Представьте".

"Не сочиняйте", сказал я раздавленно.

"Горячность, с какою вы возражаете, красноречива", ответил граф. "Впрочем, суть-то не в этом. Сказать откровенно, я забежал задолжаться, залезть, то есть, в долг, занять у вас энную сумму денег. Ведь я проигрался, подумайте".

"О, конечно, увы вам", заметил я. "Однако войдите и в мой расчет. При всем обоюдном желании я не наскребу у себя и десятой доли такой исключительной суммы".

"У себя?" изумился граф. "А разве я предлагаю вам одолжить мне из личных прибережений? Ужель я настолько бестактен, что в силах уязвить человека его недостаточностью? Поверьте, я хлопочу не о ваших карманных или чулочных, там, средствах. Отнюдь. Опекунский Совет, я догадываюсь, держит вас несколько в черном теле, не так ли. Но повторяю: вы — ключник, любезнейший, со всеми вытекающими отсюда ключами. В том числе и от сейфов. А это уже немало. Это, считая по италийски, несколько миллионов лир нетто. Как минимум миниморре. Казенные. То есть почти ничьи, безнадзорны. И когда вы негласно одалживаете кому-то их часть, то сначала совсем ничего незаметно. Совсем. А после — после я уже и верну. Незабвенно. Буквально в самом ближайшем. Ну-с, по рукам?"

"Невозможно", ответил я опылителю. "Вообразите, что скажут в Совете, если прибудет ревизия, и недостача откроется. Невозможно".

"Ах вот как" увял Брикабраков. "Похвально. А я по наивности полагал, что мы с вами приятели. А вы не думали, кстати, что скажут в Совете, если откроется, что внучатый племянник Лаврентия Павловича, сидя в ванной, грешит онано-

вым рукомеслом. И главное — каково себя будет чувствовать сам дедоватый, вообразите".

Потеки грязи распространились мне на лицо, и для смущения, таким образом, не было видимых оснований. И преодолевая его, я не столько вспыхнул, сколько вспылил. "Откуда вы знаете? Вы не знаете! Я всегда запираюсь".

"Не запирайтесь, вас видно насквозь".

"Вымогатель!" подвернулось мне хлесткое слово. "Хотите оклеветать невинного. Пользуетесь его несовершеннолетием. Полагаете, если он обретается на поруках, а вы облечены келейным доверием, то поверят вам — не ему. В добрый час — клевещите. Однако не обнадеживайтесь, что вследствие шантажа одолжу я вам денег. Наоборот, я одолжу их не вследствие, а вопреки, чтоб вам сделалось покаянно".

"Идет!" восклицал Брикабраков. "Заметано!"

"А за грехи мои", молвил я, "попросил бы не волноваться. За них я отвечу сам. И не где-нибудь, не в каком-то там жалком Совете, но в Высочайшей Инстанции! Я отвечу, что, будучи человеком долга, человек не может позволить себе интимностей с сослуживицами, и вот — принужден мастурбировать". И нащупав на шее своей монисто, набранное из ключей, наощупь же остегнул я один из. И протянул его. И вручил. По моим словам, он отмыкал лакированную шкатулку в моих покоях. "Ступайте и отоприте. В ней — сумма, отпущенная на лондонское белье для сотрудниц. Какая именно? Именно энная. Расписка? Расписку оставьте себе в назиданье. Но ключ верните".

"Брависсимо!" ликовал Брикабраков, выпархивая. "Брависсимо!"

Оцепенело ополоснув лицо, я заметил на канапе газету. Газет мне не полагалось. Опекунский Совет не выписывал мне периодики, справедливо догадываясь, что весь этот — по выражению Байрона — "вздор докучный" меня не касается и будет лишь изнурять. Поэтому я объяснил себе наличие газеты на канапе в моей процедурной тем, что курьер Брикабраков оставил ее случайно, забыл.

"Случайно?" проклюнулся где-то в сплетенье птенец интуиции. "Забыл?"

"Будущее покажет", спокойно ответил ему внутренний голос.

Вследствие непричастности к новостям как таковым, не говоря уж об элементарной моей брезгливости — к ним и предметам чужого пользования вообще, я никогда бы не посягнул на газету, оставленную пренеприятным мне опылителем. Не посягнул бы в принципе. Но газета, из коей мне предстояло узнать о потере последнего моего родственника из ближайших — ближайших, по крайней мере, по духу — была, как я уже замечал, иностранной. Экзотика ее броского оформления дразнила взор. И рука сама потянулась к изданию. Так любознательность оказалась сильней предрассудка.

Я мог бы, наверное, обмануть Вас. Мог бы измыслить какую-нибудь несусветную "утку" наподобие тех, что на каждом шагу сочиняет присяжная шайка мемуаристов в составе предателей родин и палачей народов, бандитов и узурпаторов, холуев их ничтожных величеств и представителей несуществующих национальных меньшинств, фигуранток и суфражисток, институток и проституток, заложников и наложников, вдов и отпрысков, греющих руки над теплыми еще урнами с именитым прахом, и прочей шушеры, обремененной избытком памяти. Я бы мог, например, Вас уверить, что выписал из какой-нибудь Гваделупы чепчик а ля Че Гевара, и присланный чепчик завернут был в эту газету. Или что эту газету занес мне в ванную комнату мусорный ветер радужных перемен. Или все, что хотите. Только в отличие от перечисленных выше мошенников я берег свою совесть смолоду, и оттого, не стесняясь предстать перед Вами в банальном, но невечернем свете правдивости, подтверждаю: газету "Албанское Танго"* занес мне курьер Брикабраков.

Довольно хорошо образован, и, в частности, весьма филигранно владея тоскским, — наречием, должен признаться, на

---

* Орган тоскских сепаратистов в Новой Этрурии, ратующих за провозглашение северной ее половины анклавом Албании.

редкость абракадабрым, я поначалу увлекся заметкой за подписью Обозреватель. "В обозреваемом будущем", интимничал он, "белье для дам зашагает в ногу с прогрессом. Оно потеряет сегодняшнюю актуальность, обретет массу кружев и постепенно сделается совсем прозрачно, а то и призрачно".

Даже теперь, когда кровь уж давно перекипела во мне, я не способен цитировать приведенные строки без сладостного содроганья. Да, я — Свидетель, но в некоторых отношениях меня не назовешь безучастным. Учтите: далек от идеализации полового акта как самоцели, я никогда, тем не менее, не чурался здоровой эротики. Воображение отрока подогревали и объявленья колбасников, иллюстрированные натуралистическими изображениями изделий. Публиковались и объявления более общего свойства. В них без конца кого-то разыскивали, умоляли откликнуться, призывали к сожительству, что-либо покупали, обменивали, продавали и соглашались на все. И вдруг — примите мои уверения, все имеющее решительным образом помутить течение вашей жизни случается или возникает внезапно — вдруг в опасном соседстве с торжественными обещаниями "Оскорблю и унижу", "Растлю малолетнюю", "Зацелую допьяну" — предложением обоюдовыгодной сделки, сопряженной с обменом мании величия на манию преследо¬вания — и уведомлением о предпраздничной распродаже гробов мне метнулось в глаза приблизительно следующее.

"Состоятельная чета этрусских дворян, проживающая в герцогстве Бельведер, увнучит блестящего одинокого юношу соответственного происхождения, имея в виду отцветающих лет совместное с ним проживание в средневековом фамильном замке, далекие путешествия, музицирование, мелодекламацию, решение и составление викторин, крестословиц и прочие способы приятного времяпрепровождения. Постепенная передача в наследование ценных бумаг и других подвижных и недвижимых ценностей разумеется. Рекомендации надлежат".

Обворожительно улыбнувшись, я окинул себя посторонним взором. Сомнений не возникало: кандидатура моя удовлетворяла всем требованиям дворянского пожилого гнезда. Посудите сами.

Родителей своих я не помнил. Кремлевские Парки — кормилицы, няньки и приживалки, в ненастье и в ведро вязавшие на скамейках Тайницкого сада, рассказывали, что мать и отец-часовщик мои жили счастливо и умерли в одночасье, приняв какие-то подслащенные порошки. Так или иначе отошли на иные — пусть не всегда летальные — планы родные бабки и деды, тоже часовщики, мастера единственно верного, эмского времени. Сестер и братьев мне Бог не послал. Экзистенс многоюродных теток элегически затерялся где-то в Староконюшенных, Кривоколенных, а из двоюродных родственников по-настоящему близким приходился мне только Лаврентий, председатель Совета Опекунов моих. Правда, с годами привязанность наша ослабевала, обоих одолевали будни, и сходились мы, в основном, на охотах да в храме, и то по престольным праздникам. В обычные воскресенья он службы не посещал, и Патриарх Алексий на дядю при встрече косился и оклобученно покачивал головой. Таким образом, я и вправду был одинок, неприкаян, а блеска, незаурядности мне было, конечно, не занимать.

Писал, например, я прекрасно и много. Залеживаясь в ванной библиотеке своей до рассвета, работал верлибр и гекзаметр, амфибрахий и ямб. Создавал, освежал, разрабатывал виды и роды поэзии, прозы, драматургии. Почти все жанры меня занимали, влекли. И все, что мною творилось,— творилось само собой, с той же моцартовскою легкостию, что и ныне. Но был я скромен. Не раз, шлифуя дикцию, мимику, жест, репетировал я на сценах Большого Дворца и Кремлевского Театра перед пустыми залами, однако публичное мое чтение совершилось только однажды — на традиционной елке в помещении Арсенала. Туда в Сочельник стекалось свободное от дежурств население крепости — крепостные, как мы себя шутя называли. Шутки и песни, шутихи и бенгальский огонь, конфетти и конфекты — вот типичная атмосфера кремлевского рождественского застолья. Не обходилось и без курьезов. Один из них связан с моим выступлением.

В тот раз гостями на нашей елке были вьетнамские лидеры во главе с Хошимином. Летосчисляя восточно, стоял год

Мокрицы. Гвоздем программы наметили поэтический блиц-турнир. Участникам предлагалось составить экспромт. Робея толпы, я сидел под напряженным деревом и рассеянно поедал нечто вроде филе в желе. На голове у меня была маска жирафа, и все вокруг говорили, что я в ней необыкновенно пригож.

Выступали Буденный, Молотов, Маленков. Выступал Вася Сталин, знаменитый в будущем выпивоха и преферансист. Выступала тетя Нина Хрущева, бессменная наша Снегурочка. И другие. Дети и взрослые, штатские и военные. И каждый внес свою яркую лепту. И все-таки выступление Леонида Брежнева было особенно незабываемым. Он вытянул фант "К любимой", немного подумал и, похожий в своем маскарадном жабо на енотовидного чиновника из департамента Потусторонних Сношений, каковым он, в сущности, и служил, проскандировал:

"Ты меня ревнуешь,
Значит, любишь — да?
Отчего же губки дуешь
На меня всегда?"

Посыпались умиленные аплодисменты.

"А ты, Палисандр, почему не участвуешь?" хитровато сощурилось на меня жюри в лице его единственного члена дяди Иосифа. "Ты разве не сочиняешь? Порадовал бы собравшихся".

Тетива перцепции моей натянулась, и я осознал, что Генералиссимус отлично осведомлен о моей одаренности и внимательно следит за успехами сироты. Размеренно, шагами грядущего Командора, приблизился я к лотерейной вертушке и, вытянув фант "Политика", зачитал озарившее:

"Из дверей, занавешенных густо,
Взошел человек без ушей и щек.
Быстро сказал: "Передайте Прокрусто:
Китай к коммунизму сделал скачок".

Овация потрясла хрустальную люстру. Публика кинулась к авансцене в намерении качать вундеркинда, но сил не хватило. Все снова расселись.

Возвращаясь к себе под дерево, я заметил, что старая лиса дядя Хо подошел к Иосифу и, приоткинув маску, бросает ему в лицо что-то едкое. Спустя минуту жюри назвало лауреатов. Первый приз, официальный визит в Сан-Марино, получал Вася Сталин. Вторым, дружественным визитом в Финляндию, награждался Брежнев. А я удостаивался лишь третьего. Он состоял из, с моей точки зрения, унизительной братской поездки верхом на муле по горной Маньчжурии. Я оскорбился. И, выйдя вон, крепко хлопнул дубовой дверью с имперскими двухголовыми птицами.

"Не печалуйся", догнал меня в коридоре дядя Иосиф. Ладони его мягко легли мне на эполеты КРУБС — Кремлевского Ремесленного Училища Благородных Сирот.

Училище состояло из оружейного, часового и погребального отделений. Студенчествуя на последнем, я шел на одни пятерки. Тема мне предстоящий дипломной работы формулировалась туманно: "Сравнительная характеристика похоронно-процессуальных кодексов Нижней Мальты и Верхней Вольты". Но, взяв девизом известное изречение Цицерона "Уходя, уходи", столь милое сердцу Хранителя, я намерен был защититься с блеском.

Порывисто я обернулся к Сталину. "Я не хочу в Маньчжурию, дядя Иосиф, там — дико".

"Неволить не станем", ответил он. "Однако ты должен понять, почему я не мог наградить тебя ни первой премией, ни второй. Ты допустил дипломатическую бестактность. Нужно было сказать не Китай, а — Вьетнам к коммунизму сделал скачок. Хо отчитал меня, как последнего семинариста. Нехорошо получилось, негостеприимно".

"Простите, я не подумал. Все вышло, право, экспромтом".

"Забудем". Иосиф обнял меня за плечи и доверительно молвил: "Я знаю, Сандро, ты — поэт Божьей милостью. Мне докладывают. Да я и сам кое в чем маракую. Попомни слово Генералиссимуса: когда-нибудь ты взовьешься в самое небо, и равных тебе не будет. А пока потерпи: оперись, окрепни, набей, понимаешь, руку". И он пожал мне ее.

Мы оба расстрогались и, скрывая слезы взаимной привя-

занности, взглянули куда-то вверх. Флаг над Сенатом поник, убелен идущим, как бы, на цыпочках снегом. Было самое время вылепливать снежных баб. Время строить и укреплять наши снежные бастионы, играть в снежки.

Никогда не забуду, как заразительно лихо ворвались мы с полководцем в громокипящий празднеством зал, и дядя Иосиф, рвя крючья допереворотной косоворотки и заглушая зыком медную падеспань, призвал веселящихся к боевому порядку. На ходу дотанцовывая, дожевывая бутерброд, публика повалила на двор Арсенала. По моему приказу, отданному еще в ноябре, потешная гвардия заложила там снежный игрушечный город.

Разобрались на партии. И едва завязалась потеха, как чьим-то шальным снежком Иосифу сбило фуражку. Тогда он нахмурился, и войска разбрелись восвояси.

Шагая в ногу с Генералиссимусом по кремлевской брусчатке, посыпанной крупной каспийской солью, проконтролировать смену почетного караула у Мавзолея, я находился во власти той неопределенной смятенности духа, которую нередко называют тревогой. И при виде каменноликих, словно бы столбняком одержимых стрельцов-привратников, при виде их церемониально деревенеющих, траурно стынущих на каждом подкованно цокающем шагу отчеканенных сменщиков, меня постигло дурное предчувствие.

"Не была ли наша невинная снеговая игра, так нелепо закончившаяся, лишь прелюдией к чему-то более непоправимому, роковому?" спросил я себя.

"Увы" отвечал мне под переборы курантов внутренний голос. "Увы".

Беспардонная, продувная, прожорливая бестия Вечности уж алкала себе новой жертвы, и соль хрустела под обувью, как на зубах.

Врожденное уважение ко всякого рода писчебумажному, развившееся с годами в неизлечимый, но гениальный недуг графомании, не должно, тем не менее, заслонить остальных достоинств Вашего корреспондента. Никуда, например, не

спрячешься от наиболее зримого: я велик. Знаете ли Вы, что с младенчества мне все приходилось не в пору, все было мало, и чтобы не мучить плоти, я почти постоянно ходил то в тунике, а то в хитоне. Известно также, и документально подтверждено, что под сорок четвертым годом голландские ванноделы сработали для меня специальный сосуд — на вырост. Но вскоре прихлынуло отрочество, полное половозрелых забав, и, упираясь в мужающий подбородок, из полой воды и грязи опять заторчали колени. Последовал новый правительственный заказ. Полученное было сродни надувной резиновой лодке. Надув, Вы усаживались в это эластическое плескалище и привычным телодвижением академического гребца переходили в положение лежа, одномоментно растягивая собою сосуд на собственные габариты. Безразмерная, ванна почти облегала Вас. Влага поэтому, в основном, вытеснялась телом, а небольшая масса оставшейся быстро стыла. Будучи хрупкого здравия, но нередко витая в других эмпиреях, Вы почти что не замечали этого. Закалка сказалась. Крепостной эскулап Припарко Семен Никитович в своих медицинских воспоминаниях констатировал: "П. перестал прихварывать и сделался еще крепче душой".

Прекрасно; а был ли я силен и физически? Вне сомнений. Так, шея отловленного на кремлевских задворках цыпленка сворачивалась мной, малолетним, с такой же легкостью, с какою мой дед по матери Григорий Новых (Распутин) сворачивал шеи своим идейным противникам. С молоком кормилиц всосал я восторг перед замечательным старцем. Его поясной портрет, обретенный в семейных архивах, стал одним из моих настольных. Он высится меж чернильным прибором и черепом капитана Кука, подаренным автору полинезийским вождем. Череп мог бы служить мне пепельницей, однако не служит, ибо я никогда не работаю в кабинете. Годами царящий там кавардак претит мне, но в принципе безысходен: прислугу туда я не допускаю — она у нас чересчур любопытна, а самому прибраться то, знаете ли, невдомек, то, вроде бы, недосуг, то что-нибудь третье. Поэтому главным образом творю в процедурной, читай — в ванной комнате, в ванной библи-

отеке. Рядом с Распутиным — изображение более отдаленного предка: сэр Лэрри Дальберг. Немец грузинского происхождения,* он связал себя первым браком с прародительницей Уинстона Черчилля Шерри Фли, а вторым — с шотландской принцессой Пегги. Гигант о девятистах с лишним фунтов, Лэрри прослыл полнейшим человеком эпохи, но полнота не мешала ему работать на благо и процветание общества, быть его полноценным членом. Владелец большого узилища неподалеку от Глазго, он содержал заведение в образцовом порядке и добросовестно выполнял поручения власть имущих, связанные по преимуществу с казнями диссидентствующих молодчиков. Не вдаваясь в портретную характеристику пращура, укажу лишь на самую выразительную деталь его туалета. На голове у Лэрри — мешок, а точней — мешковатая маска с прорезями для всепроницающих глаз. Палаческая карьера Дальберга достигла своего апогея в тысяча пятьсот восемьдесят седьмом году, когда он, в слезах, обезглавил свою любимую тещу Марию Стюарт и стал предметом почтенья и зависти передовых зятьев Возрождения. Труд Дальберга был высоко оценен. Яков Первый Английский наградил его титулом Лорда и Орденом Топора первой степени.

В часы процедурных раздумий о судьбах родины я умозрительно, откровенно любуюсь моими досточтимыми праотцами. Тому ж, кто, стесняясь невысокого происхожденья, пытается отыскать свои корешки в чужом городе, говорю не тая: ступайте и посмотрите, какою гордостью за не столь уж далеких предков — безвестных работников основных путей сообщения, разбойников и пиратов — светятся и как-то даже неуютно посверкивают глаза австралийской элиты. Особенно с наступлением ночи — ночи цикад и летающих тараканов, слетающихся на террасы особняков, послушать ноктюрнов; ночи кроликов, муравьедов и броненосцев; ночи сумчатых упырей и русалок; с наступлением сумчатой ночи, бредущей своими пустынями от норы к норе за зернами подаяния;

* Полная фамилия — Дальбергия.

ночи, пожалованной за беспримерное мытарство бриллиантовым Южным Крестом, — пожалованной и осиянной. Ибо к кому бы ни восходил ваш род — пусть к самому отъявленному прохвосту — вы не вправе брезгливо отворачиваться от родственника в годину его запредельного отчуждения. Ибо кто вы такой — кто вы сами, чтобы не зная доподлинно обстоятельств земного его пребывания, мотивов, побудивших его к неверным поступкам или будившим в нем зверя, хулить его, осуждать. Что за бестактность, право! Да сами вы после этого жулик, сударь. Жулик и сноб. И я первый не поприветствую вас из моего экипажа.

При всем при том вести свою родословную от высшей аристократии, мне подобно, тоже не возбраняется. Это облагораживает, бодрит. И если бы я не имел никакой информации о более современных предках моих, а среди приглашенных случились даже и знатные австралийцы, то и тогда я навряд ли ударил бы в грязь лицом на рауте у этрусков. Мне было бы чем блеснуть, генеалогически говоря, и им не пришлось бы краснеть за приемыша.

Так я мыслил, стараясь оценивать не только свои достоинства с колокольни этих беспримерно милых людей, а и достоинства их предложения со своей. Казалось, наша взаимозаинтересованность напоминает взаимозаинтересованность пары взволнованных Сарасате рук, которые не успокоятся до тех пор, покуда не встретятся, не обретут друг друга, и пальцы их не сомкнутся в замок, взаимозаполнив зияющие пустоты сторон. И лишь тогда Вам вздремнется.

И не беда, что родившись и проведя столько лет в изоляции, за кремлевскими стенами, я никогда не бывал в Бельведере; зато теперь все ко мне говорит за то, чтобы ехать туда хоть отчас — хоть вскачь. И зато я пронзительно одинок, сиротлив, неуемно талантлив. И пусть, наконец, музицирую я не часто и не ахти — музыкален я дьвольски. У меня обостренное чувство гармонии, такта, отменный слух. "Э, батенька, да вы, я чай, абсолютный ушан", сказал мне Стравинский, когда на его бенефисе, ребячествуя, я спародировал ля-диез прокофьевской чайной ложки, упавшей на пол их-за нерасто-

ропности Ростроповича. Словом, участь этрусских ценностей и ценных бумаг представлялась решенной, и все во мне в предвкушеньи внучатых ласк и "прочих способов приятного времяпрепровождения" — мелодекламировало и сослагалось в благозвучные гаммы.

"Писать!" зазнобило меня. "Писать! Проволочки губительны".

Перо, которым я сочинял тогда, было вечным. Я дорожил им и соблюдал все инструкции. Пользуясь поршневым наборным устройством, я регулярно и тщательно промывал капилляры пишущего узла водою комнатной температуры. Я никогда не эксплуатировал сей прибор возле пара и ртути, едких газов и щелочей. И ни разу — клянусь Вам честью! — не оставлял его у источника сильного излученья тепла.

Я отвинтил золотой колпачок, отвернул пластмассовый корпус. Затем, вращая рифленую гайку, набрал чернил и обнаружил себя в довольно растрепанных чувствах.

По причинам, которые если и будут изложены, то потом, жанр эпистолы до известной поры не манил меня совершенно. И если я редко писал в каком-нибудь жанре — так только в этом. И вот результат. Перед листом почтовой бумаги с грифом "секретно" и с водяным, потаенным оттиском "Дом Массажа Правительства имени Л.П.Берия" внучатый племянник последнего держится первоклассником. Не то чтобы нормы хорошего корреспондентского тона ему незнакомы: нет, он достаточно сведущ в них. Скорее, они ему просто претят. Положение усугубляется тем, что эпистола долженствует убыть во вне, в Зарубежье.

Безликая вереница наставников, гувернеров, бонн, призванных оттуда на частных началах к моему воспитанию, давно миновала. Но перед тем, как слиться вдали в типизированный образ ментора-эсперантиста среднего рода единственного числа, взятого в нуднейшем из падежей — винительном, эти модальные существа сумели придать воспитаннику известный лоск и подвигли к познанию целого ряда наречий, из коих и предстояло выбрать: на коем же изъясняться.

Древнегреческий и латынь отпадали без разговоров. Лапидарные, куцые, они бы только стеснили воображение. Тоскский, наоборот, казался излишне велеречивым. Использование родного мне русского или грузинского могло бы создать у моих адресатов ложное впечатление, будто будущий внук их — невежа, неуч, не дружен с иностранными языками и, манкируя образованием, жуирует жизнь. Писать на этрусском? Да ведь писать на этрусском этрускам — не значит ли одолжительно снисходить к ним, снисходительно их обязывать? В баскском, признаться, я был не слишком силен, санскрит представлялся слишком уж мертвым, французский — слишком живым, немецкий — черствым, английский — чопорным, а берберский нуждался в основательном освежении. Практики требовал и цыганский, поскольку шатры его непоседносителей давно не пестрели у наших стен. Тягучие непогоды принудили этих теплолюбивых весельчаков откочевать ближе к югу. Парадоксально! Две-три скрипучих и хрустких, словно капустный лист, зимы кряду — и Вы начинаете путать спряженья. С другой стороны, морозы высвободили дополнительные часы для общения с более нордическими собеседниками. Служанка, развозившая на закусочной околесице утреннее какао и прозванная мною Эос, в те зимы заставала меня в вечерней еще воде за чтением Сен-Симона и Энгельса, Ясперса и Маркузе, Хайдеггера и Фурье. Не по летам скукожившаяся и жухлая в отмщенье за перлюстрацию моих манускриптов и ябедничество, она приходилась кузиной монгольскому маршалу Чойбалсану. Заметив как-то, что Эос тайком подсматривает за моей процедурой из смежного туалета через небрежно закрашенное стекло, я вызвал ее колокольчиком и напрямик спросил: "Отчего вы так поступаете? Что вами движет? Не стыдно ли вам?"

Надменное монголоидное лицо ее прошила судорога замешательства, но: "Нисколько", сказала она насмешливо.

"Да? Тогда раздевайтесь".

"Что-что?" притворно удивилась служанка.

"Что слышите. Я собираюсь нынче же наказать вас, чтобы вам наконец стало стыдно".

"Наглец!" отвечала Эос.

"А вы — неискренни, дорогая, и это прискорбно". Бешенство овладело мною вполне. Не сводя с нее своего магнетизирующего взгляда, я откладываю "Психологию детского страха" З.Фрейда, хватаю служанку за тощую талию, возношу над собой и усаживаю себе на колени.

Она вся затрепетала. "Пустите, мне холодно!"

"Потерпите, сейчас согреемся", позволил я себе нечто в духе наших гвардейцев, нередко озорничавших с своими подружками в крепостных подворотнях.

Я действовал обходительно, но безапелляционно. Кисти рук моих словно бы сами искали и находили путь в неразберихе ее дорогого и модного для той эпохи тряпья со всеми его застежками и крючками.

"Только не это", фальшиво жеманилась Эос. "Я ведь гожусь вам в бабушки".

"Только это, мой друг, только это", сказал я с какой-то даже печалью.

Нащупав необходимое, пальцы услужливо разобрали податливые лепестки лилеи, и мое нетерпеливое альтер эго устремилось в открывшийся лабиринт. Вода заиграла, вспенилась, и поза Эос, все более не владевшей членами, принимала все менее пристойный характер. Совершалась Зевесова воля.

Мне шел, если не ошибаюсь, девятый год, и, естественно, то была далеко не первая моя связь. Бытовой уклад и неписанные законы Кремля являлись нисколько не монастырскими и предоставляли в известном смысле достаточные возможности. Ряд старейших актерок крепостного театра и цирка, сотрудницы библиотек, архивов, музеев и бань не считали зазорным уделить сироте часть досуга, тем более что мужья большинства из них давно гнушались своими супружескими обязанностями. Однако ни с кем из служительниц муз не испытал я такого живительного катарсиса, как со служанкою Эос.

Причина тут, вероятно, в том, что к обычному и часто обыденному половому переживанию добавилось чувство восстановленной справедливости и сознание, что порок наказан. И невольно, хоть с робостью, сравнивал я себя с Бонапартом. Ведь тот укрощал дворцовых строптивиц именно этим способом, причем в самых неординарных подчас условиях: средь шумного бала, в пылу сражения, на параде. Сравнение было не в пользу автора. Мои условия показались бы корсиканцу непозволительно комфортабельными, думал я. И думал: "Нет, в узурпаторы я пока не гожусь". Так простая историческая параллель помогла осознать, что и в данном искусстве рука моя была еще далеко не набита.

И все-таки наказание выглядело достаточно профессиональным. Сначала я решил довести счет содроганий Эос до десяти и поступил так. Затем, не умея останавливаться на достигнутом, вынудил ее еще к четырем, после чего сбился со счета и ориентировался только во времени. Мы начали около половины восьмого, когда в предрассветных сумерках, сочившихся в окно процедурной,* зябко просеменили на заседание члены моего Опекунского Совета, а закончили после того, как они разошлись на обед, то есть около четырех пополудни.

Когда Эос в до нитки промокшем платье, и все пытаясь его зачем-то одернуть, выходила из ванны, плоский, однако уже ничуть не спесивый лик женщины более не вызывал во мне раздражения. Впрочем, и видеть ее я более не желал, почему и отправил сушиться на кухню.

"Я буду жаловаться", проговорила она, обернувшись в дверях. "До Генералиссимуса дойду".

"Зачем?" удивился я. "Разве вам не понравилось?"

Тогда, осознав всю беспочвенность и утопичность своих намерений, служанка истерически расхохоталась, обнаруживая таким образом оба ряда вставных зубов.

"Вот видите, как смешно", молвил я с назидательной укоризной.

Монголка вздохнула и вышла. И сразу вернулась. По-де-

---

* Край ванны касался его подоконника.

вичьи прыская мелким провинциальным смешком и потупив очи мне в пах, говорила восторженно и подобострастно: "Ну, надо же, надо же, экий ты весь великан".

Полагая сюсюканье моветоном, явленьем недопустимой развязности и безвкусицы, — "Будьте любезны с органами своей экзекуции пребывать на Вы!" — прикрикнул я на служанку. "Преподанный вам урок не дает оснований для панибратства, равно и для комментариев. И — ступайте".

Она удалилась, и мы остались просто приятелями. Впоследствие Эос уже не фискальничала, из чего я сумел заключить, что наказание пошло ей на пользу хоть несколько. А перлюстрировать и подсматривать она продолжала, ибо нету такой методы, путем которой мы исцелили бы женщину от любопытства. Я взял тогда специальные меры. Велел покрасить стекло в туалете в три слоя и начал писать по-чувашски. Беспомощно и вотще шевелились уста малообразованной Эос, пытавшейся прочитать мои тексты. Еще чуть ли не сам я указывал, что при всем своем любопытстве прислуга наша ленива, нелюбознательна и далека от лингвистики.

Ну-с, а Вы, господин Биограф, что там поделываете? Что скажете, сударь? На каком языке Вы писали бы на моем месте потенциальным родственникам? Посоветовали бы хоть постфактум. Молчите? А может, Вы тоже далеки от лингвистики? А? Но с этрусским-то, я надеюсь, накоротке? Иначе как же читаете Вы настоящую рукопись? В переводе, что ли? Иль вы не читаете? Так читайте, читайте — Вы слышите? Непонятно. Да и вообще — что о Вас мне известно? Не скрою, сведения чисто гипотетические. Историк? Естественно. Исследователь архива? Сотрудник Палисандрова дома-музея, что должен быть расположен в здании Грановитой Палаты?* Почти уверен. Сидите, небось, копошитесь себе месяцами в моем барахле, перебираете разные там обноски да выбросски — классифицируете — сортируете, письма — сюда, зубо-

* Так я по крайней мере указывал в завещании.

чистки — туда. Ах, неужели, мол, это факсимиле, неужели его рука касалась этой простой пипетки, неужто он сам скатал этот катышек из билета на конку. А денежка Вам тем временем государственная течет, денежка капает. Ну, положим — факсимиле, скажем — касалась, допустим — сам. Что нужды? Странный Вы, право, какой-то. Какая-то Вы, м.г., тварь дрожащая: все трепещете, умиляетесь, приискиваете утраченные другими иллюзии. На черта они кому сдались, между нами, девочками, говоря. Приискали бы лучше себе занятие почестней. Вы же мужчина, творец — пракситель. По Вам, извиняюсь, каменоломня плачет, а Вы тут дрожите, эстетствуете. А кстати, бывали ль Вы в Бельведере? Конечно, конечно бывали. Так мило, не правда ли? Мой совет: воссоздавая пейзажный фон, не жалейте реалий и красок. Упомяните бегонии на лугу в Мулин де Сан Лу — непременно. И пинии. И мускусных лебедей, что развел Сибелий, наш управляющий.* И холмы, и куртины, и заходящее прямо в озеро солнце. А знаете, как любили мы наблюдать закат с галереи флигеля? Очень! Причем тот из участников зрелища, кто первым вскрикивал, едва светило притрагивалось краем своим к воде, за ужином получал две — подумайте! — сразу две порции сладкого. Какая живая традиция, но сколь недолго все длилось, сколь страшно рухнуло в тартар. И все из-за женщины. Женщины, сударь, они в общем случае — зло. Поберегите же честь, будьте бдительны и бегите сих алчущих плотского. Не забывайте, до чего довела меня Мажорет, переоценив все ценности и принизив высокое. Хотелось бы также выяснить, какие пути привели Вас к моим нотабенам — в мои кабинеты, чертоги. Званы Вы или призваны? Дайте как-нибудь знать, сообщите. Это краеугольно. А все напускное, наносное, вроде Вашего роста, возраста, пигментации и других особых примет — оставим в покое. В конце концов, мы ведь не в полицейском участке: расслабьтесь. И примите мои уверенья. Ваш П.

* По другим источникам — гувернер княжны Н.

Пространно раздумывая о печальных последствиях вавилонского катаклизма, решая, которое же наречие выбрать, чтобы успешней снестись с предстоящими близкими, машинально я продолжал перелистывать "Албанское Танго". Интернациональная пестрота публикуемых материалов радовала. Тут всемирный конгресс ухогорлоносовиков молнировал о чем-то премьер-министру Навуходоносору, там уж который век шла дискуссия меж самоедами и вегетарианцами, а здесь продолжалась полемика в среде отставного жандармского воинства. Пикируясь с товарищем по оружию и называя того штафиркой, автор перепечатанного из "Пари-Матч" письма настаивал, что при обороне Бастилии конники их отделенья подвязывали хвосты лошадям желтоватыми лентами, а товарищ настаивал на розоватых и требовал сатисфакции и восстановления исторических правд.

Литературную часть украшала глава из книги маститого русского мемуариста Оползнева "Огни и Воды".

Опрометью просмотрел я нехитрый кроссворд, мысленно заполняя ячейки этих словесных сот. Черный железистый турмалин? Несомненно мерл. Согласный звук, образуемый при загибе кончика языка к твердому небу? Естественно, церебральный. Шестибуквенный кулинар наследного принца Конде, убивший себя за то, что не смог приготовить заказанное ему блюдо в срок? Несомненно, Ватель.

Имелась и викторина. "Верно ли", интриговал составитель, что род победоносного Ганнибала восходит к племени каннибалов, что Капабланка наездами живал в Касабланке, Шопен держал переписку с изобретателем мусорных урн господином Пубеллем, а тот в свою очередь — корректуру его сонат? Верно ли, наконец, что Голда Меир в девичестве состояла в возвышенных отношениях с Шикльгрубером, и, когда правительство Нидерландов не оказало ему политического приюта в Гренландии, он спрятался в Палестине под именем Моше Даян и наглазной повязкой? Я отвечал уклончиво.

А на странице тринадцать печатались некрологи — — — как вдруг налетевший сквозняк задушил свечу, и я принужден был прервать составление настоящих записок.

Евгений ДУБНОВ

ЧАСТЬ ЗЕМЛИ

Сонеты к Айлин

"Айлин, любимая..."
(из старой ирландской песни)

* * *

Вот то, что не существовало, вот
Небывшему приходит свой черед:
Из хаоса и тьмы, из пустоты
Живые появляются черты.

Смотри, скорей смотри, как из куска
Безликой глины чудо лепестка
Рождается, как вновь поэту Бог
Кивает — и уже единорог

В пространстве незаполненном живет
И корма просит, и растет в ладу
Со зрением и слухом стих — и вот

Цветет пустыня щедротою вод,
Дыханьем вазу лепит стеклодув,
Приносит дева свой урочный плод.

* * *

Я плыл на корабле глупцов — такой
Мне снился сон... Царила мгла
По борту корабля и за кормой,
Но впереди какая-то была

Лучистая туманность, что росла
По мере приближенья к ней: тот свет
Все ярче становился, и тела
Глупцов меня толкали. Силуэт

Уже виднелся гавани. Чела
Не пряча, я на палубе стоял,
И каждый пассажир кричал: "Хвала
Судьбе!" и чемоданы собирал,

И каждый был собою втайне горд;
Никто не знал, как назывался порт.

* * *

Я прочитал, как на краю морей
Мать в островной одной стране ждала
Сынов своих, отважных рыбарей,
Когда с небес на дом спускалась мгла,

А утром на плечах качался гроб,
Как лодка на волнах; я увидал,
Как на подмостках морщил хитрый лоб
Придурок деревенский, шут, что дал

Мне смелость злого смеха (до сих пор
Ирландцы возмущаются, как мог
Ирландец же так осмеять своих

Же соотечественников и вздор
Такой писать, при всех позорить их) —
Я въехал в Дублин лучшей из дорог.

* * *

Ты, желчный гуманист-лошадолюб, и ты,
Очкарик хитроумный, книжный червь, я вас —
Живую вашу плоть — искал в вечерний час,
Бродя по городу, и в лики нищеты

Его тогдашней и теперешней смотря,
И слушая произношенья ваши — весь
Эдвардианский Дублин ими полон — здесь
Меня как будто нет, здесь корчится, застряв

Между торцами мостовых просторных, боль
За худеньких детей — не трогайте ее,
Биограф и турист, тщеславие свое
Откармливая. Здесь ничтожна роль

Моя: у дома семь по Экклз Стрит
Со мной калека пьяный говорит.

* * *

Уильям Батлер, ты не мог понять,
Зачем верлибры пишутся, ты пел
С акцентом твоей родины, как мать
Должна разжечь огонь, как залетел

В ладонь богатыря скворец — уста
По-старомодному раскрыв, ты пел
Бубенчики на колпаке шута,
На ветви сна, и видел: свет темнел.

Ты с тетивою сравнивал черты
Одной ирландки, чем ее корил;
В эпоху рушащихся башен ты
Без слуха и без голоса творил,

Прислушиваясь к слову пастуха
И рыболова, музыку стиха.

Ты, легкий на улыбку, мягкий Бог,
Проникнуть помоги в твои пути,
Открой, которой из твоих дорог
Нам надлежит в бессмертие идти.

Я знаю — Ты всемилостив и благ,
Но есть в Тебе суровость, и порой
Я ощущаю вдруг со страхом — так
Тебя боялся отрок — над собой

Внезапный страх Твой посреди игры,
Когда, обеспокоенно, как мать
Из вечного окна, Ты во дворы
Судьбы глядишь, где в жизнь и смерть играть

Должны мы, потому что в этом всех
Замешанных надежда и успех.

Легкая, воздушная Джульетта
В платье окровавленном твоем,
Жертва танца чести и вендетты
И любви — когда с тобой вдвоем

Повзрослел дурачившийся мальчик,
Женщина над трупом подняла
Реквиема руки, и в молчанье
Безголосом мир добра и зла

Обнажился, и тела подростков
Соловьиной ночью расплелись...
От скрещенных шпаг до перекрестков

Линий силовых судьбы легко ль
Размерять свой шаг и прыгать в высь
Музыки играющему роль.

И что кому-то чье-то имя, в чем
Звучанье плоти — в странном ли твоем
Эллино-кельтском имени с его
Сонорными, дифтонгом, тетивой

Натянутой передней гласной — что
Мне в пенье имени? Когда б не то
Тебе названье дали, как длиной
Зелено-синей я бы выпел твой

Взгляд удивленный, линию колен
Глубокую, волну над станом, плен
Пленительного лона, как на дне
Морском забытие травы — что мне

Чужое имя, что мне до того,
Как прозвучал, Айлин, в нем облик твой?

* * *

Ты плотской пелены не шевели
Бессонницей, когда я вижу, как,
То гибко наклоняясь до земли,
То распрямляясь, как бы тайный знак

Ты азбукою тела подаешь
Далекому кому-то и в ночной
Бессонный час по клеткам тела дрожь
Тяжелой крови шлешь — передо мной.

Так ты снимаешь таинство одежд,
Так пробуждаешь страсть и похоть ты
В бессонный час, когда я плоть сужу

И с высоты небесной не свожу
Беспомощно воздетых рук, как вежд
Молящих с откровенья наготы.

* * *

Вот мой простой рассказ: кричит олень,
В лесу охотник дремлет у костра,
На поле наползает ночи тень,
Кого-то будоражит жизни страх.

Все лето рдеет в запертом саду
Рябина детства, кислая на вкус;
Свисает с веток, всюду на виду,
Запретной грозди волчьих ягод груз.

Приносит мокрый ветер с моря птиц,
Пространства временного не боясь, —
Крикливых чаек, цапель и синиц —

И жалуется аноним, что связь
Теряет с Богом, что опять, молясь,
Он видит сонм прекрасных женских лиц.

* * *

От камня немоты тогда пошел
Он синим морем, где была вольна
Велеречивость встречных волн, без сна
И отдыха звучавших, и тяжел

Их многословный труд, и чуткий слух
Свой устремляя к ним, он быстро вник
В их сложный, новый для него язык
И очень скоро в разговоре двух

Идущих рядом волн мог различить
Их разное произношенье, и
На край земли вернувшись, он свои
Увидел двери и достал ключи,

И все немоты речью утолил,
И мертвый камень жизнью наделил.

Александр *ОЧЕРЕТЯНСКИЙ*

СЛОМАННАЯ ВЕТВЬ

* * *

не душу свою в дереве увидеть
а душу дерева глазами дерева увидеть
не в ветке сломанной искать созвучье боли
а веткой сломанной кричать от боли
не наблюдать себя со стороны
а наизнанку выворачивать мечты
чтобы до истины добраться
до мечты

* * *

Так не подходит увяданье
прозрачным этим
чистым ясным дням,
что поневоле в оправданье

названье им
придумываю сам.
И хорошо мне от сознанья,
что вот и я
причислен к их теплу.
Люблю придумывать названья
прижавшись лбом
к оконному стеклу.

"СКРИПКА В ГОРОДЕ" КАРТИНА ОСКАРА РАБИНА

к стене прислоненная скрипка
одна
углубленная в себя
к стене прислоненная скрипка
внизу
дома, улицы, насыщенное молчание
позднего вечера (глубокой ночи) в большом городе
в размытых пятнах редких фонарей
в необъятном и беспросветном
вышедшем из-под контроля одиночестве

кусок светлеющей мечты на горизонте

* * *

искать меня послали
искать послали книгу
какую не сказали
не знаю почему
не ту нашел я книгу
не ту открыл страницу
с конца читать я начал

но так или иначе
вся жизнь прошла в м/ученье
не знаю почему
наверно надо было
взять в руки мне мотыгу,
а я дурак ошибся
не знаю почему

ИЗ ЦИКЛА "ПОЖЕЛАНИЯ"

умейте голову нагнуть
в почете быть умейте
умейте стоя спать заснуть
когда вас бьют умейте
когда кого за что убить
кому когда где битым быть
умейте знайте смейте
учитесь жить
умейте быть
умейте битым быть и бить
при случае умейте

* * *

Горько ли, сладко ли —
дело не в этом.
К горлу приставлен нож.
Просто ли, сложно ли —
дело не в этом.
Нож заберут — умрешь.

Страшно с ножом жить,
приставленным к горлу.
Жить без ножа — страшней.
Будешь с ножом жить,
приставленным к горлу —
смертью умрешь своей.

* * *

прожитого минимума милость
немилость быта бога суеты
мираж развенчанный
увенчанная слабость
нечаянное бегство в пустоту
отчаяние тонущего судна
стремительно идущего ко дну

* * *

я никто я ничто
я совсем не могу не умею не знаю
как вести себя в обществе листьев
незнакомых мне листьев
которые ветер
поднимает с земли
и горстями швыряет в лицо

* * *

Странную легкость я наблюдаю
в теле своем.
Странное дело, мотив напеваю,
странный подъем.

Странное дело, тоска околела,
полною грудью дышу.
Странное дело — печаль улетела,
странное дело — пишу.

* * *

опавший лист
окурок сигареты —
клочок бумаги

сломанная ветвь —
соседи на заброшенной скамейке

а рядом
на земле
лежат обнявшись
шпилька и шнурок

и только снег один
неповторимо одинок
в декабрьский день усталый

ПОДРАЖАНИЕ В.В.М.

По крохам любимой лицо собирая
внезапно очнувшись понять:
нет, никогда и не было рая
у тех, кто умел прощать.

И тотчас себя обозвав тупицей
тряпкой, дерьмом и прочее...
руки раскинув, взмыть в небо птицей.
Далее — многоточие.

* * *

Идя по пустыне за пядью пядь
обиду, как воду, боясь расплескать,
упрямо он нес в драгоценном кувшине.
Не в силах себя ни простить, ни понять —
была в той обиде своя благодать —
холодной вода оставалась в кувшине.

60-70-е годы

Роман БАР-ОР

ДЕНЬ ВРАЗБРОД

* * *

...представив сад, я в нем представил вас.
Я населил его что твой Буонаротти —
я вас изобразил не хуже Удинотти!
в движении, в покое, в повороте
Сад догорал. Стада печальных азъ
курчавый отрок с дудочкою пас
пред оком Атропос — и дымчатый топаз
туманился на долгой низкой ноте...
День шел вразброд. Шли кто куда горазд
вздыхала Атропа и, тайный соглядатай
шагов друзей моих — я памяти дукаты
разменивал, не открывая глаз.

Наследники! вы обходили сад,
где до сих пор свисают голоса —
из тьмы ветвей — сподвижников Поэта,

подвешенные им — sic volo! — летом
тому лет пять (а все еще висят!) —
вы шли сквозь сад, а я печален стал:
в хламиду тьмы притихшая листва
готовилась облечься, пьедестал
зевесова исчадья тонким флером
теней подернулся и, грешным делом,
я интерес к пейзажу потерял.

* * *

...ах, дорогие мои, и еще раз "Ах!" Воистину brevis est
наша жизнь, и, по зрелом о ней размышлении, завры измов
отчасти правы. Несравненно подвержена солипсизму
долгая жисть вдалеке от дома. Убеждаешься, что вы есть,
предварительно вывихнув все суставы
восприятия данности, то есть сведя на нет
хитроумные плутни ор и примат пространства.

Спор с реальями чаще кончается к ночи.
Приглашенная на менуэт,
распрямляет усталая Мнемозина стан свой
поднимает лицо, открывает слепыя очи...

Тихо в зале старинной пустынной музыка струится
Плавно колышет жемчужные сны паутины сквозняк
бестелесный
Раз — на три четверти — раз — поклон — реверанс — по
половицам
движется медленно — медленно кружатся в сумерках лица
Под руку старую даму проводит на место паж бессловесный.

Спор с реальями чаще всего завершается к ночи.
Вот заалел на косе маяк. Усилился ветер, волны штурмуют
скалы.
Выдуло прочь туман. Скажем, следя за танцующим бликом
алым:

"Наш приговор, за вычетом смерти, бессрочен" —
и отзовется согласно беззвучно тьма.

Что же до смерти, клавир ее мною разучен.
Там одиночество, милые, только побочная тема.
Даже спасение душ — благодушная мифологема:
было бы что спасать! — так представится, верно, и случай...

Ну а свидимся ли однажды — нам раскинет кости слепой,
и глухой отзовется на стук, и подскажет число немой,
и метнут их трижды, но дважды упадут стороной не той.

Жаль, что все нам "нечет". Но, друзья не мои,
не затем ли и речь течет, как змея,
что безжалостно жало ее?!
Две-три тени лизнет — не те! —
и нежнее извивы раздвоенного острия...

Так кого ж упрекнем мы — разве извивы музык —
в том, что тонкою кистью узоры наносит Нике,
в том, что порознь наши печали и вздоры уносит Стикс,
что на лапу Азора упала лоза гюрзы?

Таковы, друзья мои, Магии Игр
не Солоном писанные законы:
лоном Евфрата пленен, тоскует по Тибру Тигр
Под скорлупою любых времен шевелится время оно.

* * *

...вот сквозь клочья тумана проклюнулся лунный зрак,
и придвинулась ночь и к лицу поднесла дары:
дыры Дирака видеть стал. И зиял в них стоочий мрак.
(О, как в них мрак сиял! — точно гекатонхеира безумные
сотня глаз)
Одиночества мерой исполнились души нас —
чтоб безумие отче в них пело на все лады!

Ибо бьется о ночи слепое лицо орды,
и под вспухшими веками чтицы клокочут сны!
или в сточенный череп возницы сочится винцо луны,
что полночный извозчик бичом рассекает высь?!
Лишь шарахнутся тени, как они, и ночь им присвистнет
"Гись!"

Вот и все, дорогие мои друзья не мои.
вот, собственно, и
договорили до точки,
упавшей тому назад три строки,
вслед ей ночь шевельнула бесформенной черной губой
и вступает безмолвия матовый темный гобой,
до — безмолвней безмолвия — точки в сто адских зги.

Так слова заключились.
Здесь им отведен предел.
Чайки — и те подвластны стали небесной музыке.
Даже несметные стаи
бесплотных тел
в такт ей колышут безмолвные крылья и лики.

Значит, время и нам.
и закончим балет.
Там, где тень ковыляла
хмелея от лунных лоз,
на пустынные скалы
играя, бросают свет
исполинские волны, встающие в полный рост.

ТИРТЕЙ

В ступице ли судьбы увиты ржой пустые
глазницы гнезд — по низким мостовым
свивая спицы, обручи стальные
стучат еще — и гулки мостовые! —

и с хриплым клекотом слетают вестовые
голубки лет — клюют зеницы им.

В аулы те, где льют тела иные
сомнамбулам умершим — а живым
шумерских рек десницы ледяные
коснутся век — под литии литые
свистят видения и рвутся пристяжные,
возница тень навис над коренным.

В бойницах времени клубится ржавый дым
с чугунным пением струя аорты злые
но птиц надлунных орды кочевые
ворвались в зрения державный Рим,
и лунный мед на крылья льется золотые.

Плывут в полет воскрылия глазные
тьмы преступить влекущий очи срез —
как перст создания на перст судьбы а выи
наклон — зовут анапесты хромые
чьи махаон ночи штандартами отверз.

Когда взлетишь, скрепленья восковые
удержат тело меж сквозных одежд
и стад светящихся скопления ночные
погонят к пастбищам надлунным псы слепые,
тогда страшись безумия луны ,
не погружай в ее струенья вежд.

Из рая памяти изгнав моленья жест,
стыдливых женств разъяв уста нагие —
с них мед латмийский пьет Эндимион —
во дни сизигий диких лик Тригии
о тех, кто в лонах тьмы зажгли огни немые,
встает из волн — и смерть танцует сон

мелькают спицы, вот полулицо
в потеках звезд (они горят к сожженью!)

подсвечивает кнутовища рук...
и видит тот — кто завершил паденье —
где ветер с вод срывает отраженья,
лоскут души трепещет на ветру

Несметной тьмой разинутой окрест
осаждены пернатые селенья.
В отлив дыхания волна уносит зренье...
но плеск бывания и эолийский блеск
осуждены переступить мгновенье.

"СТРАНА И МИР"
Ежемесячный журнал. Издается в Мюнхене

Вышел в свет и рассылается подписчикам первый номер журнала.

Журнал освещает события политической, экономической и духовной жизни в Советском Союзе и во всем мире.

Журнал обращен ко всем читающим по-русски, вне зависимости от их политической, национальной или религиозной принадлежности, — живущим в СССР и за рубежом.

Наряду с авторами-эмигрантами в журнале сотрудничают публицисты, общественные деятели, философы и журналисты многих стран мира, в том числе Америки, Франции, Германии. На страницах журнала читатель увидит также и материалы, полученные по каналам самиздата из СССР.

Объем журнала 96 страниц большого формата.
Цена одного номера 6 немецких марок.
Стоимость годовой подписки 60 немецких марок.
Пересылка за счет редакции.

Подписка производится по адресу:
Das Land und die Welt e. V., Schellingstr. 48, 8000 Munchen 40, BRD
Подписная плата принимается в виде чека, почтовым переводом или перечислением на банковский счет:
Deutsche Bank BLZ 700 700 10, Konto-Nr.331 9613 или
Postgiroamt Munchen BLZ 700 100 80, Konto-Nr. 223981 804.
Справки по телефону (089) 272 18 99.

Лев ТИМОФЕЕВ

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА ВЫЖИТЬ

Размышления о советской действительности

НАДЕЯТЬСЯ ЛИ НАМ НА НОВУЮ РЕВОЛЮЦИЮ?

Название всего исследования обещает надежду, а пока ее нет, и не видно, где ее искать.

Правящий аппарат бессилен положительно решить проблемы, стоящие перед государством... поскольку сами проблемы-то создаются властью партаппарата и коммунистической идеологии, — здесь порочный круг, и чтобы выйти из него, за дело должно взяться само общество — но как? Правящий аппарат — организованная сила: в его распоряжении весь государственный механизм... Какую же организацию должно противопоставить общество?

Одно дело — стихийное выражение общественного протеста в экономике, в культурной и духовной жизни; другое дело — изменение политической ориентации государства — может ли такое произойти стихийно? Одно дело — практический

Окончание. Начало в № 75.

опыт прошлого, который живет и имеет силу, даже если он и не осмыслен теоретиками; другое дело — теоретическая программа на будущее, тщательно продуманная модель будущего — ведь такая нам нужна? Одно дело — здравый смысл, другое — научная теория...

Есть у нас теория?

Есть у нас программа?

Есть у нас оппозиционная политическая партия?

Нет, нет и нет...

Более того, и не нужно ни первого, ни второго, ни третьего.

Тут нам надо отрешиться от одного традиционного интеллигентского соблазна — от радикализма. Чуть проявилось недовольство в обществе, чуть пошло общественное брожение — и ну давай сразу создавать партию радикальных перемен, которая возглавит недовольные массы, которая переустроит жизнь, поведет народ... куда? К лучшему будущему? Так мы уже и так туда идем... К демократии? Но каким образом?

В наших условиях всякая радикальная политическая мечта предполагает одну из двух фантастических возможностей.

Возможность первая. Правящий аппарат и КГБ создают в стране условия для демократического переустройства, и тогда... Право, не хочется даже развлекаться, строя предположения, что могло бы быть тогда. Такие предположения антиисторичны. У правящего аппарата много раз бывали подходящие моменты, чтобы направить общество в сторону демократии — нэп, хрущевская "оттепель", "пражская весна", теперь польская "Солидарность" — и всякий раз дело оканчивалось не демократизацией, а усилением террора. Какие еще нужны доказательства невозможности подобного поворота событий?

Вторая возможность. Каким-то образом правящий аппарат силой отстраняется от власти (каким?! военное поражение? чумной мор? космическая катастрофа?). Но тут возникает целый ряд вопросов для тех, кто попытается взять власть в свои руки.

1. Что делать с теми, кто будет сопротивляться новым порядкам, кто попытается восстановить хорошо знакомый и удобный коммунистический режим? (А таких будет много — и сегодня, и через пять-десять лет — и не только и даже не столько из числа партаппарата, сколько из числа людей, вообще склонных к политическому консерватизму, которых вполне устроила бы формула "сегодняшний коммунизм плюс колбаса — спокойная жизнь".) Что же с такими делать? Ставить к стенке? А не поставите — они вас поставят.

2. Кто будет ставить к стенке? Иными словами, кто возглавит процесс утверждения новых порядков? Для того чтобы хоть какой-то порядок утвердить в такой огромной и неорганизованной стране, как Россия, на первых порах нужен... чего уж там — нужна диктатура. Кто даст гарантию, что диктаторы сами захотят уступить полученную власть и что не пойдет история новыми кровавыми кругами?

3. Кто может дать гарантию, что внутренние радикальные перемены не приведут к международному конфликту, что гражданская война — а она будет! — не перерастет в мировую? Силой советского режима держатся в мире многие идеологические и политические группы. Судьба России —судьба мира. Все ли в мире захотят, чтобы судьба их решилась именно так? И, прежде всего, китайские партаппаратчики — захотят ли?

4. И последнее. Кто может сказать, во сколько миллионов жизней обойдутся радикальные перемены? Сколько не жалко — одну, десять, двадцать? Скажите, прикинем, стоит браться или нет. Только и своих детей присчитайте...

Таковы только некоторые вопросы, которые возникают при мысли о радикальных переменах в стране.

Слабость радикального политического мышления заключается уже в самих его методологических началах, в его несоотнесенности с общественным мнением. Лучше всего это видно на примере самой радикальной из всех политических теорий — на коммунистической доктрине. И мы увидим, что этим она не отличается от любой другой радикальной теории.

Как марксизм относится к общественному мнению? Марксисты покажут нам десяток цитат "из основоположников", где те соглашаются, что эмпирический опыт, здравый смысл, общественное мнение — та благодатная почва, на которой расцвела их теория.

Но расцвела — и оторвалась...

Все знают, здравый смысл и теория — два различных уровня человеческого мышления. Но, по Марксу, здравый смысл и теория — и два различных уровня постижения истины. По Марксу, истина недоступна здравому смыслу — ему доступен лишь мир явлений, лишь мир видимости. И только научная теория проникает в мир сущностей, закономерностей и оттуда извлекает истину.

Но построить научную теорию, проникнуть в "мир сущностей" — значит абстрагироваться от реальной жизни, от мира явлений, что на нашем обыденном языке попросту означает пренебречь теми или иными явлениями и жизнями, наплевать на них.

Марксизм смело пренебрегает.

Теоретики школы исторического материализма утверждают, что они построили всеобщую теорию, с помощью которой проникли в мир сущностей человеческой истории... Но присмотримся и увидим, что они всего лишь пренебрегают реальной историей человечества, сужая ее, затемняя ее историей борьбы материальных интересов (классовая борьба).

Теория "научного коммунизма" утверждает, что проникла в сущность общественной жизни... Но присмотримся и увидим, что она всего лишь пренебрегает естественным историческим опытом общества, его здравым смыслом, лишь противопоставляет ему чуждую идеологическую доктрину, чуждые нормы жизни (государство развитого социализма).

Политическая практика партаппарата — тоже в том "мире сущностей", где власти пренебрегают потребностями и интересами общества, противопоставляя им свое чрезвычайное право распоряжаться чужой судьбой.

Тут выстраивается занимательный (и знаменательный) ряд понятий по-марксистски:

"Мир видимостей":	"Мир истины":
явления,	сущности,
здравый смысл, опыт,	общественная теория,
общественное мнение,	идеология,
демократия,	чрезвычайное право,
общество,	партаппарат,
история до 1917 года	история после 1917 года.

Все так! С этого мы и начали: мы — видимость, нас — нет; а они — вот они, они — сущность жизни, ее хозяева. Как видим, подавление общественного мнения, подавление здравого смысла имеет глубокое философское обоснование. Нас нет не только потому, что партийные чиновники высокомерно не желают нас замечать, — нас нет потому, что марксистская философия в принципе отказывается видеть в наших жизнях, в нашем опыте сущность истории. В лучшем случае, мы — объект преобразовательской деятельности, объект исторического процесса; а субъект, понятно, — коммунистическая ИДЕЯ, теория, а в конкретной политике — партаппарат. Из нас, неразумных, лепят наше же счастливое будущее, а мы еще брыкаемся и сомневаемся — наше ли? Так ли уж счастливое?..

Но ведь не только теория коммунизма — всякая радикальная общественно-политическая доктрина исходит из того, что партия имеет право (чрезвычайное?) переустраивать жизнь общества в соответствии со своей программой, в соответствии со своей моделью будущего.

Всякая радикальная партия исходит из того, что общественно-государственное устройство есть объект исторического процесса.

Всякая радикальная партия исходит из того, что она, партия, со своей доктриной и программой, есть субъект истории и что только она, партия, может направить общество на путь истины, который ей доподлинно известен и обоснован той или иной, но всегда "единственно верной" теорией исторического процесса — это все равно, о чем идет речь, о коммунизме ли, о национал ли социализме, о "ливийской революции" или о любом более умеренном политическом движении к "истинной" демократии в будущем, топчущем насущную демократию сегодня.

Нет, никакая историческая "теория", никакаяя радикаль-

ная программа в принципе не может быть абсолютно истинной. Она всегда лишь частный опыт, искусственно вырванный из живого и многоообразного исторического процесса.

Из всех радикальных общественных течений в России коммунисты были сильнее не потому, что их "научная теория" более убедительна — ничуть! — они были сильнее только потому, что решительно утверждали за собой право на социальный эксперимент. Они были сильнее только потому, что наиболее последовательно отрицали общественное мнение, общественный опыт как силу реального исторического процесса. Наиболее последовательно пренебрегали.

Эксперимент состоялся...

Если правы радикалы, то русская история закончилась в 1917 году или в 1918, поскольку уже в то время не осталось сколько-нибудь значительной политической силы, способной противостоять большевикам.

Если правы радикалы, то русская история может возродиться только с возрождением политической силы оппозиции — не слишком важно, где ее искать, то ли в оппозиционной интеллигенции, то ли в истеблишменте, то ли среди генералитета.

Если правы радикалы, то субъектом истории была, есть и будет политическая установка (партия, теория, программа, чрезвычайное право).

И, наконец, если правы радикалы и субъектом истории может быть политическая теория, то есть чей-то частный опыт, частное мнение, частная воля, — если мы допустим, что так, то история человечества заканчивается: антагонизм частных воль — всегда война, а в наше время война — гибель цивилизации.

Но нет, радикалы неправы. И доказано это... историческим экспериментом самих большевиков. Их политическая практика убедительно показала: попытка переустроить жизнь общества по некоей искусственной, заранее заданной модели — не удается; попытка направить жизнь общества в сторону, противоположную естественному историческому опыту,— не удается; попытка подавить общественное мнение — не удается. А почему?

А потому, что истинный субъект истории — не партийная программа. Истинный субъект исторического процесса — здравый смысл общества, его исторический опыт, закрепленный в общественном сознании и выраженный в общественном мнении.

Частный опыт натолкнулся на опыт всеобщий.

Бешеная тирания чрезвычайного права, натолкнулась на смиренную мудрость народного опыта.*

---

* Вряд ли верно понятием "тирания" объединять исторический процесс в России до и после 1917 года, как это делают некоторые историки. Ни революционная тирания Ивана Грозного и Петра, ни тем более жесткая охранительная политика Николая Первого не затрагивали и не старались изменить нравственные и духовные основы русского общества, их христианскую сущность. Тирания всегда была направлена против политических противников и соответствующих институций, а не против общества в целом; духовная преемственность, нравственная и культурная традиция претерпевали лишь внешние изменения (при Никоне и Петре)... Но разве иные формы принимала политическая борьба в Европе в шестнадцатом-восемнадцатом веках?

Те, кто по формальным политическим признакам ищут в русской истории аналогий нынешним событиям (скажем, по отношению власти к политической оппозиции или по частоте смертных приговоров), безусловно пренебрегают (абстрагируются?) общественным сознанием как значимой реальностью истории. Или же — по традиции радикального мышления, не замечая фундаментальных процессов общественного сознания, — путают его с партийными установками. И тогда русская история видится им как цепь ошибок, допущенных в разные эпохи либеральной оппозицией, или как череда ловких тиранов, этими ошибками воспользовавшихся... Но тогда сегодняшняя стойкость русского общества и неудачи сегодняшних тиранов никакого объяснения в истории не находят.

Вместе с тем было бы чрезвычайно плодотворно процесс русской политической истории просмотреть в соотношении с фундаментальным процессом развития общественного сознания, общественной морали, общественных представлений и мнений. Вот тут-то мы и увидели бы. что именно преемственность общественного сознания в различных его формах и проявлениях и определяет единство истории. И что Сталин и Иван Грозный — не звенья в цепи тиранов, сковавшей Россию, но исторические явления принципиально разной значимости.

Но что ж это, — отказываясь от радикальной партийности, мы сами отнимаем у себя надежду на радикальное переустройство советской жизни, на освобождение из коммунистического плена? Не будем огорчаться. Надежда была ложной.

Как бы мы ни симпатизировали деятелям, смело требующим общих и частных перемен в политике, как бы мы ни ощущали нравственную силу и необходимость такого рода протеста, — а именно в нем сегодня общественное мнение наиболее остро объективировано, — как бы мы ни понимали значимость поведения людей, демонстративно отвергающих ложь, и как бы мы сами ни стремились вести себя именно так, мы все-таки должны признать, что никакие общие политические перемены сегодня невозможны и что уж тем более не спасут нас частные изменения в политике, оставляющие неизменной систему в целом.

Что же нам нужно? Не ухо же первосвященникова раба. А свободу нельзя добыть насилием.

Русская революция 1917 года доказала хотя бы одну благую истину: партийная борьба радикалов опасна и бесплодна, и время ее в истории человечества завершается.

Или ею завершится сама история...

На что же нам надеяться?

На здравый смысл общества, на общественное мнение, — а это сила немалая, ею движется глубинный исторический процесс...

И еще на мудрое смирение, которое и составляет духовную основу здравого смысла. На смирение, которое и позволило нашему обществу выстоять против чудовищного, невиданного в истории давления, ибо смирение — не форма рабского подчинения, но форма духовной свободы в условиях административного рабства.

Иными словами, наша надежда — не на победоносную революцию, а на фундаментальную и плодотворную работу общественного мнения.*

---

* Употребляя термин "общественное мнение", я имею в виду отношение общественного сознания к явлениям жизни. Общественное мнение всегда есть проявление неудовлетворенной общественной потребности, и поэтому оно не может возникнуть там, где потребностей нет. Его не может быть ни в раю, ни в аду. Скажем, в обществе, где в принципе невозможно убийство, заповедь "не убий" теряет свой смысл, равно как и мнение, осуждающее убийцу.

Поскольку весь комплекс потребностей общества сформирован историей, постольку общественное мнение — не моментальное состояние сознания, а исторический континуум, хотя мы и рассматриваем его в какой-то определенный момент времени и в отношении к определенным явлениям. Иначе говоря, мы имеем дело лишь с частным проявлением общественного мнения, тогда как все в целом оно остается нам недоступно.

Общественное мнение — сложная совокупность отношений к сложной совокупности явлений. Оно стихийно выражается в прямых действиях и во всей организации жизненного уклада.

Выраженным общественным мнением является фактическое состояние морали, политики, культуры, экономики и т.д. У общества нет более убедительного способа выражения своего мнения, как только общественное действие, творящее общественную реальность и прежде всего — человека. Поэтому об общественном мнении нужно судить не столько по высказываниям идеологов или тем более по инспирированным "опросам", но более — по реальному воздействию общества на основные социальные институции, а через них — на личность каждого в обществе. В этом смысле общественное мнение есть субъект истории.

Компетентность и истинность общественного мнения не имеет внешнего критерия в видимом мире. Его ничто не может пересоздать, оно же создает всю общественную реальность.

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА ВЫЖИТЬ

Мы говорим, что общественное мнение сопротивляется коммунистической доктрине. Это так. Но почему же это сопротивление никак не отражается на структуре советского общества? Ведь партийные идеологи, пожалуй, правы, когда говорят о его монолитном единстве.*

---

* Вот суждение, случайно (как, впрочем, и все с Запада) попавшее мне на глаза: "По мнению итальянских коммунистов, Советский Союз остается авторитарной империей, основанной, однако, на широ-

Если не считать несколько сотен (или тысяч?) откровенных оппозиционеров-диссидентов, деятельность которых имеет скорее нравственное, чем политическое значение, то факт сопротивления никак не отражается в структуре советского общества, — это и делает сопротивление вообще незаметным для людей, привыкших общественные явления разводить, как боксеров на ринге, — по разным углам истории. А тут из сознания советского человека, жизнью причастного к советской системе, куда выведешь его же сопротивление той же самой системе? Тут все в одном сознании, в одном сердце, в структуре одной личности — и причастность, и отрицание; тут же и борьба этих качеств.

Эту постоянную раздвоенность нашего сознания, эти мучительные вопросы и имел в виду Солженицын, когда подсказал свой ответ: "Жить не по лжи!" Слово было услышано многими... Но обращено-то оно было к тем, кто знает, где ложь, а где правда. Большинство же, здравым смыслом постигая истину в своей обыденной жизни, не умеют сопоставить ее с жизнью общества в целом. Слишком затуманен горизонт советского человека постоянным пропагандистским угаром, слишком резко обрублены его связи с общественной мыслью, — а вместо того видит он перед собой лишь лживые рожи телеобозревателей, словно вертухаев по краям зоны.

Бывшие лагерники вспоминают, что где-то в сталинских или в гитлеровских лагерях христиане причащались, лишь касаясь друг друга. Физический плен не мог лишить их духовной свободы. Они искали и находили пути приобщения Истине... Где нам искать?

Мы — плененное общество. Не только физически мы принадлежим чуждой нам политической системе, но и разум наш в плену у партийных пропагандистов, наше слово в плену у них. Мы молчим, даже когда знаем, что сказать. Мы молчим,

ком согласии... Это общество, которое меньше контролируется секретной полицией, чем в сталинские времена" (Итальянский еженедельник "Панорама" от 1 ноября 1982 года).

потому что шаг влево, шаг вправо — и патруль открывает огонь. Как нам жить не по лжи? Чему причащаться?

Нет, мы не выступаем на партсобраниях "против", а иногда даже выступаем "за"; нет, мы не выходим на улицу с антисоветскими плакатами, а дважды в год выходим с бодрыми советскими лозунгами; мы не требуем категорически, чтобы уже завтра в магазинах была колбаса, а молока бы давали, сколько выпьешь, а не по справкам от детского врача, как сейчас... Нет. Но мы приспосабливаем эту реальность к своим потребностям, мы медленно, но верно переиначиваем ее по-своему. И она поддается! Мы заставляем считаться с тем, что мы — живы...

Мы больны. Сознание каждого из нас раздвоено, но, может быть, именно эта раздвоенность и позволяет нам всем быть одним, единым обществом. Это ведь такая простая мысль, — что мы все — одно, одно общество, одно целое. Мысль такая странная и такая страшная.

Орлов и его тюремщики — одно целое?

Президиум партсъезда и мы, сидящие у телеэкрана — одно целое?

Люди, страдающие, вынужденные лгать, и наглые насадители лжи — одно целое?

Плачущие и самодовольные — одно?

Не та ли это мысль, которую находим мы в газетах, где пишется о единстве партии и народа? Та же самая, да по-другому понятая. Там говорится — самодовольно и победно, — что все мы — все! — служим одной единой ИДЕЕ, что все мы во власти у нее. Так ли это? Так. Мы вынуждены служить. Но мы утверждаем, что темная сила, захватив нас физически, никого из нас не раздавила духовно, не размазала — никого! Мы в плену, но мы живы.

Надо бы постоянно и внимательно изучать этот исторический феномен — двойственность сознания советского человека. Противостояние ИДЕИ и здравого смысла — оно везде, сверху донизу, и здравый смысл начинает выдавливать, оттеснять постороннюю идею, начинается медленное, медленное выздоравливание. Понятно, что оно происходит не

по стартовому пистолету — начали выздоравливать! — но происходит же. И сегодня уже никому не придет в голову взорвать, скажем, Исаакиевский собор, как некогда легко и не раздумывая взорвали Храм Христа Спасителя.*

Мы говорили много об истории. Но разве то, что теперь происходит у нас в стране — не исторический процесс? Общественное мнение теснит бесчеловечные порядки, медленно, но неуклонно сужает сферу власти идеологии над нашим сознанием, приспосабливает к своим потребностям экономику... Так больной, но крепкий организм локализует очаг болезни, еще недавно столь яростно развивавшейся и грозившей смертельным исходом... Процесс идет слишком медленно? Да. Слишком медленно. И возможны тяжелые рецидивы. Но ведь другого-то у нас нет — вот что! И наши надежды нам больше не с чем связать — даже если и эти надежды кому-то кажутся зыбки и нереальны.

Нам остается одно: изжить ИДЕЮ, как организм изживает болезнь. Всем изжить. Всему обществу в целом — и нам, давимым, и тем, кто давит; и вертухаям, и зэкам; и партаппаратчикам, и всем, всем под ними — всем. Преодолеть двойственность нашего сознания — в пользу здравого смысла. На это и надежда. А на что же еще надеяться? Альтернатива этому процессу сегодня видится только единственная — война.

Людям ли дано спасти мир? Как это произойдет и произойдет ли, никто не может знать. Но если до сих пор мы видели проявление Воли, творящей историю, в здравом смысле народа, то с чем еще нам связывать наши надежды?

Нам неизвестен Замысел истории. Человек поймет его лишь тогда, когда история завершится и преодолена будет слабость и раздробленность единичного человеческого разума... Но процесс истории у нас перед глазами. И если мы видим, что общественный разум — субъект исторического процесса, то нетрудно различить, на что направлен и сам процесс, что есть его объект.

Общественный разум формирует сознание каждого из нас в отдельности. Человек, личность есть объект исторического процесса. Нам это важно знать, если мы не хотим, подобно политикам-радикалам, ошибиться в направлении своих усилий.

Сама отделенность, автономность человеческой личности, сама способность человека индивидуально противостоять Злу — великая сила!

Радикальная идеология сильна лозунгом. Она призвана воздействовать прежде всего на рудиментарные области сознания, которые привязывают человека к толпе, она обращена к инстинкту. Там же, где человек один на один со своим разумом, со своей совестью, радикальная идеология бессильна.

Опыт прошлых поколений, их отношение к жизни, их мнение о жизни формируют личность современного человека и позволяют ему выстоять против давления доктрины. Нам остается одна надежда — надежда на то, что исторический процесс освоения (или, вернее, отторжения) общественным разумом чужеродного тела социализма пойдет скорее, чем процесс политической и нравственной деградации правящего аппарата, что могло бы привести всю систему на грань катастрофы. В некотором смысле наша надежда — на стабильность социалистического государства.

Мы не можем себе позволить какого бы то ни было радикального вмешательства в исторический процесс, но нет ли у нас возможности для консервативной поддержки этого процесса? Мы не можем помочь советскому человеку уже сегодня жить не по лжи, но нельзя ли помочь ему не мыслить категориями лжи? не на то ли нам надеяться? Нельзя ли помочь ему сделать свой, пусть умозрительный, выбор между ложью и правдой, между тьмой и светом? У нас нет сегодня пути к физическому освобождению из плена, но, мо-

---

* Но если бы кому-то из правителей пришло бы такое в голову, можно не сомневаться, взорвали бы, — и не раздумывая, и общественного мнения не запрашивая. Социализм остается социализмом. Возможность насилия ничуть не становится меньше.

жет быть, нам следует сосредоточить свои усилия на поисках пути к свободе духовной и нравственной, и прежде всего освободить из-под страха глаза, душу и разум, дать работу совести?

Казалось бы, простейшее человеческое право — право на свободу совести, право на выбор мировоззрения. Не работа ли совести сопутствует обычной работе общественного мнения в любом демократическом обществе? Да. И это значит, что наши надежды связаны с тем, чтобы в тоталитарном государстве утвердить независимую зону демократического обычая — в нравственном сознании людей. Так, чтобы каждый мог постоянно причащаться правде. Так, чтобы это было в силах каждого...

Пожалуй, сам факт, что общественно-политическая ситуация оставляет нам одну единственную возможность обратиться к людям — возможность обратиться к их совести, — факт совершенно необыкновенный в новой истории. Впервые политические методы, доведенные правящим аппаратом до абсурда и бессилия, отступают на задний план. Мы попросту лишены политического выбора... Но в то же время, как живые люди, мы не можем отказаться от выбора вообще. Мы выбираем. И не столько политическую позицию, сколько нравственную точку зрения.

И вот что еще важно: не здесь ли, не в недрах ли нашего чудовищно отрицательного опыта вообще возникает некое новое, по-своему даже идеальное гражданское устройство?

Сам процесс отторжения коммунистической ИДЕИ не создаст ли в будущем, не начал ли создавать уже в настоящем ту новую социальную общность, те новые гражданские институции, которые преодолеют и тупую бесчеловечность тоталитаризма, и нравственную податливость демократии, всегда готовой уступить тому, кто ловчее сумеет обмануть простое большинство избирателей?

Отрицательный опыт — тоже опыт и, пожалуй, даже наиболее ценный, наиболее выстраданный. Практическая ценность

нашего отрицательного опыта уже и сегодня очевидна: Франция и Италия, а с ними, пожалуй, и вся Европа — пока еще не коммунистические только лишь по той единственной причине, что есть в мире отрицательный опыт системы реального социализма. А без этого — постоянно на глазах — опыта давно бы социальная демагогия коммунистов охмурила большинство избирателей, как в своем время фашисты охмурили немцев... Так что это мы прикрываем Европу от наступления коммунистической ИДЕИ, как некогда прикрыли от татар...

Отрицательный опыт — сила. Не будем высокомерно пренебрегать им, полагая, что будущее подскажет нам нечто независимое от опыта сегодняшней общественно-политической системы. Не повторим ошибки радикалов. Общественное мнение не умирало и не умирает. Оно — влиятельная реальность сегодняшней жизни. Оно работает и развивается. Оно влияло и влияет на действующую систему политики, экономики, права, на все существующие гражданские институции. Оно-то и создаст — уже, должно быть, и сейчас создает вопреки коммунистической идее! — все, чему надлежит проявиться в будущем.

И мы — участники этой работы.

Но возможно ли сегодня сказать об этом каждому? Возможно ли обратиться к каждому? Нет, невозможно... К каждому — невозможно.

Сегодня у нас есть только один способ содействовать работе здравого смысла: закрепить этот процесс в слове и в общественном сознании, объективировать его. Сегодня промолчать — все равно, что разминуться с истиной. Истина — достояние общественное, и что сегодня тайна, завтра будет говорено с крыш. Надо говорить.

Быть может, слово правды, произнесенное и произносимое, само найдет дорогу к тем, кто ждет его, к тем, кто его ищет? Будем надеяться на это. А что слова ждут и ищут, что люди хотят осмыслить собственную жизнь в категориях здравого смысла — в этом нет сомнения, это мы видим вокруг себя ежечасно. И если в течение шестидесяти пяти лет обществен-

ный разум находил и находит формы сопротивления грозящей нам духовной смерти, будем надеяться на него и впредь. Будем стучаться — и откроется...

Общественный разум и опыт истории — в принципе нерасторжимы. Я не предрекаю обязательной победы морали и разума над радикальным безумием в политике. Я говорю только, что общественный разум, мнение, волю нельзя подавить. Они будут живы до последнего — до момента физической гибели человечества.

И, значит, до момента физической гибели у нас будет надежда.

Больше нам надеяться не на что.

Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ

ФИЛОСОФИЯ ЕВРЕЙСКОЙ АНОМАЛИИ

Государство Израиль возникло из отчаяния еврейских поселенцев, покинувших свою постылую родину-Россию и прибывших в Палестину, из их упорства обосноваться на земле своих предков. Оно возникло из пепла сожженных в гитлеровских печах людей иудейского племени, которых все другие народы бросили на произвол судьбы.

Но в историческом аспекте можно сказать, что еврейское государство возникло из двух элементов, во-первых, из уникальной особости еврейского народа, во-вторых, как реакция на еврейскую аномалию.

Здесь, однако, кроется внутреннее противоречие: еврейская особость диктует не быть, как все народы. Реакция же на еврейскую аномалию предполагает превращение евреев в народ, как все.

В свою очередь в этом внутреннем противоречии заключается самая глубокая причина переживаемого сионизмом кризиса после создания еврейского государства. Это звучит как

парадокс: но сионизм осуществился, чтобы не осуществиться. Его высшая цель — создание еврейского государства — достигнута, но нормализации еврейского народа так и не состоялось. Подавляющее большинство евреев продолжают жить в галуте.

Может ли еврейский народ превратиться в народ, как все, не потеряв своей уникальной особости?

1

Гершон Шалом, недавно умерший крупный израильский ученый, историк и специалист по каббалистике, имеющий мировое имя, писал в своей книге "Осмысленные речи": "Я не могу освободиться от диалектического урока истории. Светскость — это часть процесса нашего вступления в историю. Вступление в историю равнозначно растворению, ассимиляции в ней. Поскольку я не верю, что евреи могут быть, "как все народы", то из этого следует, что светскость невозможна. Она не будет осуществлена. Я не верю, что мы сами ликвидируем себя. Нет никакой причины, чтобы евреи существовали, как сербы. Они (сербы) могут существовать без теологии, без внеисторических масштабов. Если евреи попытаются себя объяснить только из истории, они должны будут прийти к самоликвидации, к полному краху, ибо в этом случае исчезнет всякий импульс к их существованию как нации".

Как видите, перед нами кратко выраженная целая концепция — назовем ее теологической — еврейской истории.

Следует лишь оговориться, что противопоставление евреев сербам не выражает здесь никакого пренебрежения к последним. Оно призвано лишь подчеркнуть уникальную особость еврейской истории и ничего более.

Несомненным является то, что еврейская судьба глубоко отлична от судьбы всех народов, хотя бы уже потому, что евреи — экстерриториальная нация. Однако представляется сомнительным введение теологии как внеисторического фактора.

Конечно, религия, противостоявшая христианству, которое завоевало мир, сыграла особенно большую роль в еврейской истории. Это неоспоримо.

Однако непреложным фактом является и то, что со времени еврейской эмансипации на авансцену выступил национальный фактор, занявший в значительной мере место религии.

Несмотря на то что со времени потери своей государственности, евреи были выключены из исторического процесса как его самостоятельный субъект, они не превратились во внеисторическии народ. История всегда лепила их судьбу, а со времени разрушения гетто они превратились в первостепенный интеллектуальный фактор современного мира. И это произошло до того, как образование государства Израиль превратило их в важный политический фактор на международной арене. Так что можно сказать, что евреи сохранились как народ, выдержали все испытания и превратности судьбы не вопреки истории, а благодаря ей.

Все дело в том, что евреи как народ не превратились в рудимент истории, в окаменелость (как утверждает Тойнби), не стали сгустком застывшей крови. Даже когда евреи были заперты в гетто, их дух продолжал пульсировать — хотя бы потому, что они должны были выстоять в неравной борьбе с христианскими иезуитами. Еврейская особость не сводится только к религии. Скорее наоборот, сама еврейская религия, пророки Израиля, являются выражением духовности еврейского народа, которая, правда, не подавляла плоть, но всегда ставила дух выше плоти. Да, включение еврейского народа в историю означает растворение в истории. Но может ли при этом сохраниться уникальная еврейская особость? — вот в чем вопрос.

Иначе говоря, может ли еврейский народ, приобщаясь к истории, продолжать оставаться народом "не как все народы"? Можно поставить этот вопрос и иначе — означает ли упразднение еврейской аномалии превращение еврейского народа в народ, как все?

2

Когда сионизм поднял знамя национального возрождения еврейского народа на своей исторической родине, его центральным лозунгом было — нормализация еврейской жизни, превращение евреев в народ, как все. В этом была сила сионизма, но и его слабость. Могут ли евреи стать народом, как все?

Сионизм вырос из пробуждающегося еврейского самосознания, из стремления евреев к национальной свободе по примеру других европейских народов.

Самая большая заслуга сионизма в том, что он поднял и развернул знамя самоэмансипации и вселил в евреев сознание того, что они нация и даже мировая нация, несмотря на свою экстерриториальность. Ахиллесовой пятой сионизма был разрыв между диаспорой и землей Израиля, который он пытался преодолеть — и не столько в сфере действительного, сколько в сфере желаемого. Фактически разрыв остается в силе и по сей день.

Если судить о сионизме с точки зрения его возможностей и средств, находившихся в его распоряжении, то надо признать, что достижения его огромны, они граничат с чудом. Евреи Израиля приобщились к земледелию, достигнув высокого международного уровня, общеизвестны их достижения в промышленности и науке, они создали первоклассную армию. Но если судить о сионизме с точки зрения поставленных им перед собой целей, то есть миссии, которую он на себя возложил, то картина будет иной — еврейская аномалия продолжает существовать и по сей день.

Есть в сионистской доктрине течение, противопоставляющее сионизм действительности. Действительность, мол, всегда была против сионизма, и залог его победы в том, что он остается непокорен действительности, враждебной ему. Это — иррациональный сионизм.

Есть в сионизме течение, которое обличает еврейскую привязанность к галуту. С этой точки зрения галут не объективная реальность, а волевая сущность, которая может быть

отменена чуть ли не по щучьему велению. Это направление можно определить как волюнтаристическое. Но оба направления, по-видимому, не отдают себе отчета в том, что их концепции — это не более чем попытки, сознательные или бессознательные, обойти факт существования еврейской аномалии.

В действительности же, самая существенная дифференциация в сионизме не связана ни с одним из этих течений. На самом деле существуют лишь два сионизма: декларативный, с одной стороны, и сионизм осуществления, или, если хотите, сионизм практический — с другой.

Этот, последний, всегда оставался лишь тонким ручейком, представляющим узкие слои еврейской идеалистической молодежи, но не компактные массы населения.

Так, начиная с 80-х годов прошлого столетия до мировой войны 1914 года в Америку эмигрировали два миллиона евреев, а в Палестину за это время — лишь 50 тысяч. После образования государства Израиль продолжается та же тенденция. За все годы его существования лишь четверть миллиона (а то и меньше) евреев эмигрировали из стран Запада в еврейское государство. Разрыв между сионизмом как идеей и сионизмом как практикой был и остается важнейшим фактом новейшей еврейской истории.

Идеолог ревизионизма Исраель Эльдад в своей статье "Еврейская аномалия в трех измерениях"* заключает по этому поводу, что существует насущная необходимость, чтобы еврейский народ двинулся в Эрец Исраель, как во времена исхода из Египта. "Но для этого, — продолжает он, — нужно, чтобы мы были нормальным народом".

Оказывается, близкая душе Эльдада аномалия еврейского народа является препятствием на пути его национального возрождения. Отсутствие широкого потока еврейской эмиграции в Палестину, а теперь и в Израиль, есть плод аномалии еврейского народа, основной аномалии. Честь этого открытия не принадлежит Эльдаду, но это все же открытие.

---

* См. "Время и мы", № 76, с.140-152

3

В чем же состоит это открытие? Оно в том, что последовательный сионизм, рассчитанный на решение еврейского вопроса (то есть на концентрацию еврейского народа или его подавляющего большинства на земле обетованной), был и остается утопией. И не только из-за причин внешне-политического характера, но и по причинам внутренним: еврейский народ не последовал призыву к массовому переселению в страну праотцов.

Так было после Бальфурской декларации 1917 года, провозгласившей создание еврейского "национального дома" в Палестине. Так было и после основания государства Израиль: еврейские массы не двинулись с насиженных мест. Еврейское население Израиля увеличилось главным образом за счет спасенных беженцев из гитлеровских лагерей и за счет исхода из арабских стран, ну и, конечно, за счет естественного прироста. Даже в последнее время мы были свидетелями того, что евреи Алжира предпочли Францию Израилю, а затем и евреи Ирана, оставившие страну Хомейни, опять же обошли в своей массе Израиль.

Конечно, это не может не быть связано с еврейской аномалией, то есть с тем отклонением от нормы, которое отличает еврейский народ от других народов.

Как известно из истории, евреи в Древнем мире рассеялись и создавали крупные центры в диаспоре еще до крушения еврейской государственности. Уже тогда евреи, сохраняя свою верность еврейству, были народом космополитическим.

Совершенно очевидно, что еврейская привязанность к диаспоре объясняется как этим космополитизмом, так и тем, что крупные события в жизни любого народа всегда происходят по необходимости. Пока ее нет, еврейские массы не снимаются со своих мест. Да и снимаясь со своих мест, они ищут страны с более высоким уровнем жизни и цивилизации. Любовь к Сиону сама по себе недостаточна, чтобы стать фактором кинетическим.

Когда мы размышляем о роли диаспоры в еврейской истории, о ее внутренних закономерностях, неизбежно возникает вопрос о ее связи с первичными факторами формирования еврейского народа.

Идея единого Бога, с одной стороны, и идея избранности еврейского народа — с другой, тесно связаны между собой. Вера в Бога, который есть Дух, в мире идолопоклонства должна была породить чувство глубокой особости. И не только особости, но и избранности.

Почему евреи не переступили порог христианства, вышедшего из его же среды? Да потому, что они не могли раствориться во вселенской церкви и потерять свою особость и универсальность, заключенную в ней.

Еврейское рассеяние среди народов мира является самым ярким и выпуклым выражением еврейской аномалии, но основы этого отклонения от "нормы" были уже заложены в идее единого Бога и в богоизбранности, выявившихся в дальнейшем в еврейской аномалии. Здесь-то и кроется внутренняя связь между этими первичными факторами еврейской истории и еврейской диаспорой.

Возникает при этом и другой, историко-философский, вопрос: не должен ли был еврейский народ осуществить свое рассеяние, чтобы доказать себе и другим народам свою особость, поменяв свою физическую родину на родину, находящуюся в духовной сфере? Возможно, что еврейский народ сохранился и выстоял не вопреки своему изгнанию и рассеянию, но благодаря им: высокий накал страданий и испытаний, выпавший на его долю, выработал в нем необычайную нравственность и выносливость.

Возможно, что еврейский универсализм, место еврейского народа в мировой истории предполагали и постулировали его превращение в народ — сугубо национальный и космополитический — в одно и то же время.

4

Нет ли противоречия между сионизмом, его призванием, направленным на нормализацию еврейской жизни, и духом еврейства, представляющим собой совершенно особый, ори-

гинальный сплав — национального и универсального начала? Как ответить на этот вопрос? Ведь еврейский народ создал в прошлом такую крепкую веру и высокую нравственность, которые не были созданы ни одним народом мира. Может ли это быть заменено плотским началом национально-территориальной концентрации, которая бы превратила евреев в народ, как все?

Во всяком случае ответ, который дает на этот вопрос Исраель Эльдад, кажется слишком легковесным и поверхностным. "То, что называлось в сионизме нормализацией, то есть стремлением быть, как все народы, — пишет он, — не могло быть направлено ни к чему другому, как к возвращению к нормальному базису, физическому, экономическому, государственному, военному. Ведь и гений и пророк обладают физическим телом, дышат, едят, размножаются, борются, живут".

Что же получается? Получается полный разрыв между духовной аномалией евреев и их физическим субстратом. Но разве это возможно? Больше того, получается, что такой фундаментальный и определяющий факт еврейской истории, как диаспора, как бы выключается из духовной аномалии еврейского народа и переносится только в сферу его физической экзистенции. С этим согласиться невозможно.

Еврейская диаспора не эпизод, а органический "ингредиент" еврейской истории, ее не дано упразднить ни отрицательным, ни положительным путем. Гитлер пытался дать "окончательное решение" еврейского вопроса, он уничтожил треть еврейского народа, но цели своей не достиг. Он не принял во внимание космополитический характер еврейского народа, расселенного по многим странам мира.

Но тот же космополитический характер еврейского народа ставит под сомнение и возможность положительного упразднения еврейской диаспоры путем национально-территориальной концентрации евреев в Эрец Исраель: всегда найдется диаспора, одна или больше, из которой массовое переселение в страну Израиля не является необходимостью.

Устойчивость еврейской диаспоры, ведущей свое начало с древних времен, — это то препятствие на пути сионизма, которое он преодолеть не может. Для ликвидации еврейской аномалии нужен нормальный народ. То, что является ц е л ь ю сионизма оказывается у с л о в и е м для достижения этой цели. Исраель Эльдад только усугубляет это имманентное противоречие, когда вешает всю философию еврейской истории на один гвоздик — еврейской абсолютной обособленности и отчужденности. Парадокс заключается в том, что на этом сходятся как еврейские националисты, так и недруги еврейства, а также и интернационалисты ассимиляторской школы.

Так, например, известный немецкий историк фон-Трейчке (1836—1896) писал в 1879 году: "Наше требование в отношении наших еврейских граждан очень просто: чтобы они были немцами, чтобы они чувствовали себя немцами и чтобы это чувство не затронуло их веру и их древние и святые воспоминания, которые мы все уважаем. Однако мы не хотим, чтобы после тысяч лет немецкой культуры пришла пора смешанной немецко-еврейской культуры". Как видите, не евреи как таковые, а еврейская обособленность вызывает неприязнь фон-Трейчке.

Человек совершенно другого политического лагеря — Ленин — вел бескомпромиссную борьбу с еврейским "Бундом", его главный грех он видел в сепаратизме, в национальной обособленности. Горячо отстаивая принцип ассимиляции как "великий исторический прогресс", Ленин бичевал "кастовую обособленность евреев", в которой видел средневековый пережиток (см."Критические заметки по национальному вопросу", 1913).

Но ни тот, ни другой не задавали себе вопроса: почему, собственно, евреи должны перестать быть евреями? Разве сохранение особости есть обособленность?

5

Ф.М.Достоевский тоже писал об еврейской обособленности, причем с особой яростью: "...евреи чуждались во многом русских, не хотели есть с ними, смотрели чуть ли не свысока

(и это где же? в остроге!) и вообще выражали гадливость и брезгливость к русским, к "коренному народу" ("Дневник писателя", 1877). Больше того, Достоевский обвинял евреев во всех смертных грехах, в том, что они царят в Европе, управляют биржами, политикой, внутренними делами и даже "нравственностью государств" и что верхушка евреев воцаряется над человечеством все сильнее и тверже и стремится дать миру свой облик и свою суть.

Но Достоевскому же принадлежат и другие слова, которые свидетельствуют о его гениальном чутье и широте взгляда. Он писал, что для того, чтобы существовать сорок веков на земле, то есть на протяжении почти всей истории человечества, да еще в таком плотном и нерушимом единении, чтобы терять столько раз свою территорию, свою политическую независимость, законы, почти даже веру, — терять и всякий раз опять соединяться, опять возрождаться в прежней идее, хоть и в другом виде, опять создавать себе и законы и почти веру, — такой живучий народ, такой необыкновенно сильный и энергический народ, такой беспримерный в мире народ не мог существовать без status in statu, который он сохранял всегда и везде, во время самых страшных, тысячелетних рассеяний и гонений своих.

С одной стороны, здесь мы видим все то же обличение в обособленности, замкнутости, отчужденности. С другой — понимание того, что это связано с глубокой особостью еврейского народа, особостью не имеющей себе аналога в мировой истории.

Перед загадкой этой особости Достоевский останавливается в недоумении: "...Не настали еще все времена и сроки, — пишет он, — несмотря на истекшие сорок веков, и окончательное слово человечества об этом великом племени еще впереди".

Достоевский чувствует, что в еврействе заключена какая-то великая идея и попытка толковать его как "жидовство", как "матерьялизм", как слепую плотоядную жажду личного накопления денег всеми средствами — это явная профанация. Ведь писатель сам признает удивительную способность еврейства "возрождаться в прежней идее". В какой же идее, спросит читатель, в идее "чистогана"?

Достоевский явно не хочет уступить еврейскому народу право на терновый венец, принадлежащий ему как самому многострадальному и гонимому народу в мире. Он спрашивает: "неужто можно утверждать, что русский народ вытерпел меньше бед и зол "в свою историю", чем евреи где бы то ни было?" Чтоб ответить на этот вопрос, достаточно вспомнить гетто, инквизицию, погромы и, наконец, газовые камеры Гитлера.

Но вот что важно: парадоксальным образом Достоевский приближается к проблеме еврейской особости, в основе которой лежит известная двойственность.

Хорошо об этом сказал Мозес Гесс в статье, написанной им в 1870 г.: "Непростительная слабость, мягко выражаясь, заключается в том, что выступающие в роли защитников евреев, борющиеся за их права, хотят украсить и лакировать все, что связано с евреями и еврейской историей. Всегда было в еврействе только небольшое ядро, к которому следует отнести все великое и святое в духе Израиля. Это ядро имело доброе влияние на большинство вокруг него. Но всегда была и есть и теперь среди сынов Израиля категория людей эгоистичных, стремящихся к обогащению и чести, полная противоположность праведникам Израиля, категория, вызывающая, не без основания, в сердцах народов подозрительность по отношению к нам..."

Эта двойственность никого не должна смущать. Евреи не народ, писанный с иконы, в нем всегда боролись и борются положительные и отрицательные тенденции.

Однако в двойственности еврейского народа есть и единство. Оно пронизывает всю еврейскую историю. Это единство определяется духом и интеллектом народа. Этого не понял или не хотел понять Достоевский, когда писал о евреях.

6

Национальная особость евреев — это комплекс национальных свойств, отличающих их от других народов. Эта особость

чрезвычайно глубока, ибо еврейская судьба и еврейская история отличны от судьбы и истории всех народов, вместе взятых.

Евреи — нация, рассеянная среди других народов и притом нация, вызывающая неприязнь и ненависть. Таким образом, национальная обособленность — в большой мере навязана евреям извне, — стоит только вспомнить еврейские гетто.

Но нельзя смешивать еврейскую особость с обособленностью евреев.

Однако печально, что к хору обличителей евреев присоединяются и еврейские голоса, поднимающие еврейскую обособленность на щит. Слышим мы среди них и голос Эльдада. Вместо того чтобы предать еврейскую обособленность анафеме, он воскуривает ей фимиам.

Часто ссылаются на известный императив Библии, обращенный к евреям: "Народ, живущий отдельно и с другими народами не смешивающийся". Однако было бы ошибкой (намеренной или не намеренной) толковать эти слова как рецепт национальной обособленности и замкнутости.

В действительности же это только призыв к сохранению национальной особости, верности самим себе.

Как это ни парадоксально, но евреев обвиняют в обособленности потому, что они единственный не обособленный народ, живущий в своем обособленном государстве, как все другие народы. Таково положение вещей после образования Израиля, поскольку речь идет о большинстве еврейского народа.

Особость еврейского народа в своеобразном и единственном в своем роде переплетении национального и универсального начал, представляющих как бы диалектическое единство.

Евреи — народ, который несет в себе свое самоотрицание. Это доказывает широкая волна ассимиляции, сопровождающая историю еврейства со времени эмансипации. Но этот народ несет в себе и свое самоутверждение. Это видно хотя бы из того факта, что он нашел в себе силы, чтобы создать свое национальное государство после почти двухтысячелетнего перерыва. Не обособленность, а противоречивое единство

этих двух начал (самоутверждение и ассимиляция) представляет собой высший закон еврейской жизни.

Через всю еврейскую историю проходит красной нитью борьба двух начал — духа и плоти, при этом еврейство не подавляло плоть. Этого не было. Но оно всегда исходило из примата духа над плотью. Это борьба, в которой нет и не может быть окончательного и однозначного решения. Десять заповедей и разбитые скрижали, несгораемый куст и золотой телец — это только некоторые примеры, подтверждающие это правило.

Избранный народ — это не непосредственная данность, это только идеал совершенства, который никогда не может быть достигнут, но к которому надо всегда стремиться. В этом субстрат еврейства.

Еврейская история начиная с библейских времен — это не идеализированная картина достигнутого совершенства, это рассказ о борьбе народа с самим собой, борьбе, уходящей в бесконечность.

Еврейство всегда привлекало и привлекает и сегодня всеобщий интерес и внимание, потому что в нем заключена какая-то тайна — тайна устойчивости без почвы, бытия на грани небытия. Может быть, отсюда и это смутное чувство, что в еврействе кроется какая-то правда, скрытая правда. Эта правда не однозначна. Она многолика и трудно уловима. Она и в этой постоянной борьбе народа с самим собой, и в идеале нравственной чистоты, и в лестнице Иакова, основание которой на земле, а вершина в небесах.

Идея единого Бога не могла не родиться из абстракции, из способности к абстрактному мышлению. Этот талант к абстракции, иногда перехлестывающий через край, уходящий от действительности, был и остается характерным для еврейского мышления. В нем проявляется еврейский национальный гений. Каким-то скрытым для нас образом этот талант к абстракции связан с тем, что с самого начала евреи были народом без родины, без почвы под ногами.

В отличие от других народов, народ еврейский не родился и не сформировался на своей родине. Она всегда была для не-

го обетованной землей, высоким стремлением и целью. "И сказал Господь Аврааму: "Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую Я укажу тебе". Так начались странствования еврейского народа — из рабства египетского, через блуждания в Синайской пустыне — в обетованную землю, которую он потом три раза терял и в которую возвращался, припадая к ней, как истощенный жаждой путник к источнику.

Кто знает, может, из этого корня родились пророки Израиля, которые "глаголом жгли" сердца людей.

7

Еврейская беспочвенность неразрывно связана с его исключительной привязанностью и преданностью обетованной земле. Лишившись своей родины, оказавшись в изгнании, еврейский народ обнаружил к ней еще большую привязанность.

П.Чаадаев писал в своей "Апологии сумасшедшего" (1837), что на Россию давят ее необъятные пространства. Есть один факт, писал он, который является "существенным элементом нашего политического величия и истинной причиной нашего умственного бессилия: это факт географический".

О еврейском народе можно сказать обратное, — узкая полоса пространства служила ему почвой под ногами, а потом он и ее потерял. Это произошло в результате столкновения с Римской империей, столкновения маленькой Иудеи с мировым Римом, которое было неизбежно, будучи столкновением двух принципов — силы и духа, закончившимся победой Рима. Но эта победа обернулась поражением: еврейство пережило Рим.

Потеря своей национальной территории превратила евреев в подвижный народ, легко передвигающийся из одной страны в другую. Еврейские центры возникали то в одной, то в другой части света. Это и послужило причиной того, что народ еврейский больше живет во времени, чем в пространстве, бесконечность времени накладывает на него свой отпечаток.

С.Аверинцев отмечает в своей книге "Поэтика ранней византийской литературы", что космос стоял в центре искусства и философии Древней Греции, в то время как творчество Древнего Израиля пронизано одним мотивом — претворением во времени. Если философское сознание начинается с Древней Греции, то историческое сознание ведет свое начало от Древнего Израиля.

Для Эллады понятие "вечность" не вмещается в понятие "время". Для Иудеи — вечность — это не что иное, как аккумулированное время. Вечность и время неотделимы. Только Бог и его воля — над временем. Бог творит сущее из ничего, но и Он творит во времени. "Вначале сотворил Бог небо и землю", и продолжалось творение мира шесть дней, а день седьмой был благословен. Переживание и сопереживание во времени становится характерным для еврейства, причем время это обращено к будущему. Отсюда еврейская отзывчивость к идеям — проекциям будущего, еврейская преданность идеалам переустройства мира. Отсюда еврейский мессианизм, — вера в Мессию, который грядет, но которого пока еще нет.

Все направлено к будущему. Отсюда еврейская страсть к вечному передвижению. Как было уже сказано, евреи подвижный народ, легко воспринимающий язык и обычаи страны, в которой он живет, но не растворяющийся в народе этой страны. Предельная способность к адаптации сочетается в нем с внутренней устойчивостью. Быть как все, — это естественное стремление каждого еврея в странах диаспоры, но быть не как все народы — это его судьба.

А отсюда основная антиномия еврейского бытия — быть своим и в то же время чужим во всякой нееврейской стране. Евреи везде другие, остающиеся при этом самими собой. Известный немецкий историк Моммзен многозначительно пишет о евреях: "Этот странный народ, уступчивый и упрямый в одно и то же время, отличался в Древнем мире, как и в наши дни, тем, что сидел как свой в каждом месте и не был своим нигде. Сила его значительна везде и повсюду, но нет у него власти нигде". Эти слова только подчеркивают и в еще более ярком свете представляют еврейскую особость.

8

Нам остается выяснить еще один вопрос. Образование еврейского государства было поворотным пунктом в еврейской истории. Здесь была упразднена двойственность еврейского бытия, здесь мы уже имеем дело не с американскими или французскими евреями, а с "еврейскими евреями". Отменена ли этим самым еврейская аномалия?

На этот вопрос приходится дать отрицательный ответ уже потому, что еврейская диаспора не упразднена. Но это не единственная причина. Не менее важно то, что реальное, конкретное, а не идеальное еврейское государство само не является "нормальным" государством. Оно было создано под угрозой нацистского истребления еврейского народа. И чем больше оно отдаляется от еврейской катастрофы, тем больше идентифицируется с ней. Это происходит еще потому, что само еврейское государство является единственным еврейским центром в современном мире, который всегда находится перед лицом смертельной опасности, исходящей от арабского мира.

Создание еврейского государства не означало и не означает ликвидации еврейской диаспоры.

История идет своими путями, не подчиняясь предписаниям доктрины, в данном случае доктрины сионизма. Сосуществование еврейской диаспоры (в которой сконцентрировано подавляющее большинство еврейского народа) и еврейского государства (где живет меньшинство народа) продолжает демонстрировать миру еврейскую аномалию.

Владимир ШЛЯПЕНТОХ

ЗДЕСЬ И ТАМ

Письма в Россию

МЕЖДУ АМЕРИКОЙ И РОССИЕЙ

Октябрь 1983 г.

Дорогие друзья!

Надо ли вам напоминать, что значил для меня выезд за границу или, более солидно, — за рубеж, причем "туда", где якобы используется вся палитра красок? Рассказывая на одной из лекций "Введение в социологию" об индикаторах престижа, я столкнулся с тупым упрямством местных студентов, не желавших никак понять, что "выезд" — это, ох, как престижно и что классификация граждан по этому критерию, ох, как интересна. В их сознании, так плохо приспособленном для понимания других систем и культур (в этом американцы резко отстают от Европы), очень плохо укладывались корреляции между получением заграничного паспорта и другими переменными, такими, как статус, доход и т.д. И неудивительно, что в Париже бродит уйма предельно скупо одетых американских студентов, тщательно экономящих деньги на еду. Ворвавшаяся в Лувр полуголая американская девица (по-

луголая не только из-за того, что это "удобно", но из-за наличных ресурсов) произвела на меня и жену не менее сильное впечатление, чем шедевры в том зале, который она пересекла на стремительной скорости. Впрочем, как вы узнаете, не только она, эта девица, отвлекала меня от бессмысленно большого числа "экпонатов"*, накопленных "эксплуататорскими" классами прошлого.

Да, конечно, мания оказаться там, возникнув тогда, когда она уже могла с известной вероятностью осуществиться (где-то на рубеже 50-60-х годов), уже не покидала меня и достигла пика в году 66-67-ом.

Потом, из-за явной невозможности ее удовлетворения, она заметно ослабела, обостряясь только тогда, когда какой-нибудь напившийся "выезжант" начинал душевные излияния со мной: "Помнишь, конечно, Володька, площадь Святого Марка, ну да, конечно, в Венеции, ну, помнишь, там есть..." (Если степень опьянения была велика, то приходилось несколько раз с возрастающей раздражительностью говорить холодным голосом: "Я т а м н е б ы л".)

Помимо престижных мотивов, которые можно, конечно, трактовать и как ощущение несправедливости, у меня были и особые основания рваться, как Дунька, в Европу — языки. Инвестиции во что бы то ни было играют сами по себе огромную роль в нашей жизни. Это одна из самых сильных иррациональностей — нам обязательно надо использовать то, куда мы вложили наши силы, даже, если это почти вредно нам. То обстоятельство, что я вкатал уйму человекочасов в изучение языцей, особенно французского, всегда давило на меня и оказывало известное влияние на мои поступки и настроение.

Все-таки при всем этом желание пройтись по Елисейским полям стало слабеть, и однажды в кругу очень мне милых людей, далеко от Москвы, я высказал соображение, что мол и не надо мне все это, так как в наш чудовищно информационный век, ну, что я там увижу такое, что поразит мое переполненное всякими сведениями сознание. Мои милые оппоненты, у которых шансов побывать в Париже тоже было не слишком много, в общем заподозрили здесь весьма нехитрую

* Так в тексте. Исправлять не решился, возможно, в искаженном закавыченном слове кроется какой-то смысл. *(Д.Т.)*

мысль, изложенную в формуле "виноград зелен". (Я не первый раз сталкиваюсь с трудностями публичного самоанализа. Воспитанная на материалистическом мировоззрении публика всегда торопится трактовать почти любые движения твоей души в соответствии с вульгарным вариантом этого мировоззрения и крайне редко допускает мысль, что тобой могут руководить и другие побуждения.)

Так вот, первое главное впечатление от моей первой поездки в Европу — это отсутствие бурных, возбуждающих твою душу и тело впечатлений.

Русский дворянин, впервые отправившийся в путешествие на Запад во времена Пушкина, знал, к его счастью, не так уж много о Франции. Я же, увы, видел, слышал и читал статей об этой стране чудовищно много. Но помимо этого, есть еще два объяснения моей реакции. Первое, я уже был "проездом" в Западной Европе, да и прожил уже более четырех лет за океаном.

Рим меня в свое время действительно потряс, прежде всего безграничным ощущением свободы и своей радостной эмоциональной атмосферой, несмотря на то что летом 1978 года полицейские машины с дико пронзительной сиреной проносились едва ли не по каждой улице буквально каждые полчаса (наверное, из-за милых "Красных бригад"). Даже грязь на улицах Рима, возмущавшая некоторых членов моей семьи, доставляла мне своеобразное удовольствие.

И второй момент. Беглый туризм (7 дней на Лондон, 20 — на Париж) годится тем, для кого важна зрительная культура, кто умеет наслаждаться по-настоящему архитектурой и живописью. Уж неважно, почему эти сферы искусства — не мои, и поэтому возможности получения удовольствия здесь у меня ограничены. Мне надо вжиться в город, и, конечно, главное, общаться с его жителями, почувствовать необычное для меня в их жизни. Вот поэтому три дня, которые мы провели в Базеле, где теперь живут мои почти друзья, мне были особо приятны, ибо мы получили возможность что-то узнать о швейцарской жизни изнутри.

Правда, в Париже меня тепло принимала моя бывшая студентка по Гарварду. Я был очень горд, ибо это напомнило мне

Союз. (В Лондоне меня тоже опекал, почти в грузинском стиле, аспирант из Глазго.) Однако краткое посещение ее квартиры и ужин в "типично" французском ресторане местного значения не намного пополнили мои знания Франции.

В целом, я хочу передать вам — не страдайте от того, что вы не были около Эйфелевой башни и от того, что не видели, как сменяется караул в Букингемском дворце (я, кстати, тоже его не видел, ибо в этот день его отменили) — где-то фильмы и книги вполне это заменяют. Такова уж эта жизнь, где "вторая реальность", созданная средствами массовой коммуникации, литературой и искусством, часто сильнее в своем воздействии, чем первая, "подлинная". В общем это новое явление, феномен XX века, вернее, его середины, и он "олитературивает" жизнь, как это и не снилось тому же Пушкину.

Конечно, я слегка на себя наговариваю. Некоторое число острых ощущений я испытал. Однако они все какие-то странные и несерьезные. Ну, я воистину был поражен тем, насколько птицы в парке около королевского дворца в Лондоне, не боятся людей, словно и они находятся под защиттой Хартии вольностей, которую я видел в Британском музее.

Вздрогнул я, когда оказался в Версале, — тут априорная информация проиграла битву: я не подозревал масштабы, величие и красоту. Зеркальный зал, где подписывался исторический договор, тоже заставил меня раскрыть рот и воскликнуть: "О!"

В Лондоне меня, конечно, потрясли панки — немалое число идиотов обоих полов, которые творят со своей головой и лицом что-то неправдоподобное. Думаю, что и до вас дошла прическа этих дегенератов. Я не смогу ее описать опять-таки из-за моей зрительной тупости: стоит представить нечто вертикальное и раскрашенное во всевозможные цвета. Они, эти панки, бегают по всем улицам, мажут себя чем-то, веселятся напропалую, но не пугают прохожих, которые их называют "суперкрези", то есть сверхненормальные.

Однажды вокруг здания, где должен был быть концерт

ихней музыки, собралось их невиданное множество. Я вступил в беседу со стоящим там "бобби", стремясь выяснить размер опасности. Полицейский объяснил мне, что опасность равна, строго говоря, нулю, да и вообще здесь он не на службе и как бы сам имеет желание к ним присоединиться.

Поразили меня и местные метро. Мне уже казалось, что я никогда не увижу метро, способное соревноваться с известным мне раньше, по прошлой жизни, сооружением. Так нет. И в Лондоне, и в Париже оно вполне прилично — чисто и удобно, и я снова, как когда-то, зайдя в вагон, расслабился, что не рекомендую вам делать в Нью-Йорке.

Произвели на меня впечатление французские уличные кафе, которые обычно полны и где сидящие за столиками граждане откровенно, жадно и нахально глазеют на прохожих, выражая таким образом откровенное желание приобрести немного разнообразия в жизни за счет толпы. В одном кафе я разговорился с типичным, вроде бы средним или мелким буржуа, владельцем собственного бизнеса. И ему и его жене приходится вкалывать в нем со страшной силой. Он, как и другие французы, убедил меня в том, что по близости человеческих отношений французы уступают даже американцам, а вы знаете, что я думаю о роли дружбы в этой стране.

С другой стороны, те же французы заставили меня еще раз оценить невероятное дружелюбие среднего американца к любому, кто с ним соприкасается.

Таксист в Париже может иногда выиграть соревнование по грубости с его коллегой в другой европейской столице.

Париж меня удивил приятнейшим образом своим вниманием к французским интеллектуалам. Почти каждая третья улица названа в честь писателя, композитора, художника, ученого. И действительно обидно, подумал я, шагая по улице Гей-Люссака (помните его закон из учебника?), обидно Франции с ее культурой не играть первую скрипку и в других делах.

А вот в Лондоне, как это ни странно, упор на всевозможных генералов и адмиралов. Особенно много из времен наполеоновских войн. Это меня еще раз убедило, как сильно Англия перенервничала, когда Бонапарт восседал в Париже.

Среди других незначительных впечатлений, из-за которых вряд ли стоит утруждать себя поездкой в Париж, — это культ еды во Франции. Это чувствуется всюду. И было, например, странно видеть после американского увлечения диетами французского господина, пожиравшего в одиннадцать вечера в кафе огромную тарелку макарон с мясом. Однако же французы, пожалуй, даже более худы, чем американцы, что требует специальных объяснений.

Если во Франции бросается в глаза любовь к еде, то в США — к питью всевозможных неалкогольных напитков. Американцы вечно держат что-то в руках для питья — кофе, коку или что-нибудь другое. Они буквально не расстаются с жидкостями ни на минуту. Они ходят по улицам со стаканчиками в руках, приходят с ними на лекции, пьют во время сеанса в кино, они пьют сидя, стоя и, наверное, лежа.

Из более серьезных впечатлений: это мое осознание того, что такое городская жизнь. Она обнаружена мною в Западной Европе и, конечно, прежде всего в Париже и Риме. Но ее по сути, если не считать некоторых районов Нью-Йорка и Сан-Франциско, практически нет в Америке. Улица не играет здесь никакой, ну буквально никакой, роли.

Американец выходит на улицу только для того, чтобы, прошмыгнув в свою машину, пробраться в гости, кино или на концерт.

Париж же живет на улице. Это великое наслаждение бродить по улицам Парижа, как и Рима. В Париже, в одном месте, меня хозяева здорово напоили прекрасным вином, и я, полупьяный, пошел пешком в гостиницу. Ну что за удовольствие это было! Останавливался в каждом кафе по дороге, пил кофе, снова бродил, — и всюду интересно и увлекательно. Даже Москва в общем уступает Парижу по значимости улицы в ее жизни.

Очень было интересно наблюдать присутствие России в Западной Европе. Я снова здесь почувствовал, что значит культура. Перефразируя известное выражение, можно сказать, что к знаниям по хорошо известному предмету прибавляются новые знания, но с гораздо большей активностью, чем знания

по предмету малознакомому. Проще говоря, нередко нам было интереснее узнать в той же Западной Европе что-то по русской культуре, чем получить представление о неизвестных феноменах западной культуры. Именно поэтому наш первый турпоход в Лондоне был на выставку русского модернизма, организованную Костаки (она двигается по всей Европе и, судя по Лондону, пользуется успехом).

Там же мы, конечно, поспешили на "Преступление и наказание" в постановке известного вам режиссера. Эта постановка пользуется огромным успехом, и здесь, как и на Таганке, аншлаг.

Мне было очень интересно, что в Лондоне я увидел спектакль "обыкновенной Таганки" с режиссерскими трюками буквально каждую минуту, но с лучшим, чем там, актерским составом. Но, конечно, лондонцы вряд ли поняли идейную сторону спектакля с его обличением тех, кто хочет все переиначить в этом мире. И уж совсем странно прозвучали цитаты из школьного сочинения, в котором Раскольников трактовался как идейный противник самодержавия. Кстати, в фойе театра была выставка сатиры из времен революции пятого года.

В Париже мы оказались в кинотеатре, где демонстрируются старые советские фильмы. Мы смотрели фильм двадцатых годов "На окраине", который сейчас по-своему очень актуален — он против первой империалистической, за братанье, за — как бы сказать это помягче? — ну, не за победу. Почти полный зал — а фильм идет уже много недель. Парижане воспринимают его, вероятно, как выражение сегодняшнего отношения к войне.

В "Центре Помпиду" (внешне нечто похожее на Дворец съездов) в Париже да и в Лондоне мы обнаружили множество великолепных новых зданий, одно оригинальнее другого. В залах современного искусства Россия опять-таки представлена великолепно. Просто поразительно, как могли все эти безвестные художники прорваться тогда так далеко, вопреки всему. Впрочем, в политическом плане почти все они очень мало отличаются от Маяковского.

Россия, конечно, присутствует почти в каждой телевизионной передаче и в каждом номере газеты или журнала (уж, конечно, в Лондоне я покупал ежедневно "Таймс", а в Париже "Ле Монд"). Существенно менее активно она представлена живыми индивидами. Поэтому, когда в Лувре, в двух шагах от "Моны Лизы", мы обнаружили группу своих бывших соотечественников, то я обомлел от удивления и возбуждения. "Мона Лиза", которую я мгновенно забыл, в данном случае имела все основания ехидно улыбаться, глядя на мое поведение. Уж как мне хотелось их всех проинтервьюировать! Но я понимал, что не имею права портить им пребывание в Лувре, и лишь молча созерцал группу, стараясь выяснить их основные СД характеристики.

Тут же при мне состоялось вручение матрешки гиду, примерно в таком же стиле, в каком такая же матрешка вручалась в 1965 году, когда я был в Чехословакии, чешскому гиду.

Большое внимание было уделено в нашей поездке и классикам марксизма-ленинизма. В Британском музее я не без дрожи осмотрел выставку, посвященную Марксу. Меня, в частности, тронул такой экспонат: "В этой книге доктор Маркс расписался как новый читатель, и с тех пор он посещал Британский музей все остальные тридцать лет своей жизни".

Я с интересом прочитал рецензию на "Капитал", опубликованную сразу после издания — очень положительная.

В Цюрихе заставил Жан-Пьера, моего нового друга, опросить добрую дюжину людей, чтобы разыскать дом, где жил последние годы в Западной Европе, перед возвращением в Петроград, Ленин. Такой пятиэтажный скромный дом, недалеко от самого веселого района города. И было интересно глядеть на этот дом и размышлять на "вольные темы".

Среди других преимуществ Западной Европы над Америкой не последнее место занимают театры. Конечно, я слабо знаком с театральной жизнью США, однако с учетом впечатлений других эмигрантов, можно смело утверждать, что это не самая сильная сторона этой страны. И все совсем другое в Лондоне и Париже. В каждой столице театров, наверное, в

три-четыре раза больше, чем в Москве. В Лондоне, кроме "Преступления", мы видели еще два спектакля — наиболее модные в сезоне. Один из них знаменитого в России Осборна "Патриот для себя". Это — хорошо нам известная история (есть рассказ Эгона Киша) о том, как начальник австрийской контрразведки стал русским шпионом накануне первой войны. А все потому, что гомики, кем герой и был, преследовались обществом. При другом отношении исход войны мог бы быть как бы другой.

Вторая пьеса "Истинная ценность" — чисто интеллигентская, феноменологическая. Герои — актеры и писатели, — чья профессия состоит в том, чтобы создавать образы, сами живут в этих искусственных представлениях о жизни. Однако когда дело доходит до настоящих чувств, то самые заядлые снобы оказываются жертвами пламенных страстей. Это, в частности, и объясняет, почему они начинают проверять переписку своих возлюбленных. Нет, нет, — вовсе не новая мысль, но в Лондоне она проходит за глубокую и неожиданную. Думайте, что хотите.

Что здорово в театрах Западной Европы, — это то, что там обязательно нужно раздеваться. В США, если даже есть где-то глубоко спрятанный гардероб, большая часть зрителей, действуя по принципу "делаю, что хочу, и прежде всего, что удобно", — держит пальто на руках. Движение по фойе, если таковые и бывают, тоже нечто выродившееся и не является важным атрибутом театральных эмоций. А вот в Лондоне и Париже, как и в Москве, — торжественная обстановка, все в туалетах и костюмах, в фойе буфеты, и граждане даже пьют шампанское. Особенно все торжественно в Парижской опере. Мы туда попали после длинных прогулок по городу, и я одет был более чем затрапезно. Но если есть тугрики, дело можно было тотчас поправить: я приобрел по дороге брюки и рубашку и выглядел вполне терпимо, в противном случае — это было бы ужасно: даже я это осознал!

И наконец поговорим о женщинах. Француженки, как и англичанки, не произвели на меня впечатления. Я уж не говорю о моей особой склонности к русским женщинам,

которых я продолжаю считать находящимися вне конкурса из-за сочетания привлекательности и глубокого интереса к интеллектуальному флирту. Даже американки мне показались на фоне жительниц европейских столиц более ухоженными и даже красивыми.

Француженки помешаны на украшениях. В среднем каждая из них носит одновременно не менее 4-5 "единиц". На девушке, которая служит в кассе по обмену валюты, я обнаружил что-то 15-17. Знаю, что вы мне не поверите, но это ваше дело. А она умудрилась нанизать на каждый палец по кольцу, нацепить по нескольку браслетов на запастья, повесить на шею множество цепочек с какими-то побрякушками.

Есть нечто, что четко отъединяет западных женщин, американских и французских, от русских. В отличие от последних они реагируют на любой ваш комплимент кратким, хоть часто и кокетливо произносимым словом "спасибо". Сейчас я этому уже не удивляюсь. Я и сам, как и другие представители мужского пола, так отвечаю на все положительное, сказанное в мой адрес. И я даже уже почти забыл, что это, по московским стандартам, совсем не тривиальная реакция.

В Риме же, когда я сказал одной прелестной девушке, что она прекрасна и когда услышал в ответ сказанное изящно и просто "Грацие", я был почти потрясен. Я живо вспомнил, как реагируют московские — не говоря уже о киевских или одесских — красавицы на такой комплимент: "Ах, что вы! Вы преувеличиваете. Мои глаза совсем, ну совсем обыкновенные".

Володя

ТЕЛЕФОН ТАМ И ЗДЕСЬ

Это будет только небольшим преувеличением, если я скажу, что различия в роли телефона здесь и там напоминают различия в роли литературы и искусства. Если взять сразу быка за рога, то надо сразу сказать: в одном месте телефон — волнующее, бьющее эмоциями средство связи. В другом — послушный робот, четко, без сопротивления выполняющий указание того, кто с ним имеет дело. В одном случае телефон — трагедия, драма и комедия. В другом — скучная буржуазная проза жизни. Боже мой, как в прошлой жизни меня возбуждал один вид телефонного аппарата! Сколько надежд самого разного толка он в меня вселял! Мне всегда казалось, что с помощью этого чудесного прибора можно в одну минуту добиться чрезвычайного, и в самых разнообразных областях. Где бы я ни обнаруживал телефон, я немедленно лихорадочно начинал думать — куда и кому позвонить.

Мои отношения с телефоном "там" были прообразом того будущего, когда машины, как в фильме Кубрика "Одиссея 2001", будут контролировать людей и внушать им планы действий. Многие мои, даже очень добрые друзья с удивлением наблюдали, как, придя к ним в гости, я через несколько минут после формального обмена приветствиями бежал к телефону. Это происходило и тогда, когда я сам стал обладателем телефона, но что же я вытворял, когда у меня его еще не было! С телефоном в Москве у меня связаны мои лучшие воспоминания.

Так вот, мои милые друзья, так было "там". Здесь я почти равнодушен к этому аппарату, я днями могу не поднимать трубку, и этот послушный мне прибор не излучает никаких эмоций, ну буквально никаких.

И я вам прямо скажу, с абсолютной откровенностью, здесь дело в социально-экономических и политических различиях.

Ну, прежде всего, разве можно сравнить утонченный телефонный разговор в Москве с вульгарно откровенным обменом мнениями здесь. Там, у вас изощренность, символика, исторические аналогии, поэтические строки, таинства умолчания, обещание продолжения в другом месте, напряжения памяти и воображения, нарастающее возбуждение от того, что что-то ты узнаешь не сейчас, а как бы позже, при других обстоятельствах и т.д. и т.п. Кто воспоет этот неповторимый аромат московских телефонных разговоров! Вместе со многим другим он был важным компонентом утонченной

культуры человеческого общения, которую практически невозможно объяснить местным жителям.

Они, между прочим, очень редко звонят друг другу, и не только в таких городах, как, например, Бостон, где плата взимается за каждый разговор с учетом его длительности. Вот была бы катастрофа в Союзе! Но даже и в тех местах, где оплата ведется по-старинке, люди звонят редко. Вы можете просидеть целый вечер дома у профессора-коллеги и не услышать ни одного звонка, а если он и раздается, то это почти наверняка дети. Наш звонок "просто так, чтобы потрепаться" абсолютно неизвестен этой цивилизации.

Прайвеси, вероятно, тоже играет известную роль. Нельзя звонить домой по служебным делам (если только это не ваш друг или приятель). Когда один известный социолог попросил меня позвонить ему в воскресенье домой — шла речь о чтении курса в Эн Арборе, — то мой лансинговский приятель решил, что светило — мой ближайший друг.

И, конечно, никто не ведет, как правило, бесед с домашними на работе. Мои рассказы о том, как ловко и умело телефон может использоваться для воспитания детей, обучения их математике и приготовлению пищи встречается моими слушателями как преувеличение, еще одно доказательство, что эмигрантам нельзя верить. Когда они рассказывают о своей стране, то вечно что-то искажают.

Совершенно не чувствуется и роль телефона в сексе. (Тут некоторые критики сильно сомневались в правдивости моих описаний целомудрия среднего класса Америки. Истекший период с момента моих описаний этой темы — не менее трех лет — не заставил меня серьезно изменить восприятие этой стороны американской жизни. Может быть, я сделаю для вас обзор последнего бестселлера социологов "Американские пары", который, поскольку он касается "гетеросексуального брака", полностью подтверждает мнение о том, что адюльтер здесь — большое событие.)

Да, друзья, телефон, который прямо-таки дышит сексом, по крайней мере в Москве и Ленинграде, здесь до тошнотворности прозаичен и скучен.

Какое множество приемов используется там виртуозами телефонного флирта, какая изощренность, сколько выдумки, вплоть до того, что обыкновенные звонки, издаваемые телефоном (их периодичность, длительность и т.п., без участия человеческого голоса), способны сообщить любимому существу, особенно не свободному в своих действиях, кучу важной информации. Нет, не думайте, что я начну сейчас перечислять все другие приемы, вы их знаете, а те, кто не знает, не поверит.

Арон Каценелинбойген, с которым я бегло обсуждал проблему, настаивает, что всеобщая телефонизация — это просто помеха местному сексу. По его мнению, партнер в браке всюду достижим, у него нет замечательной возможности оправдать свою задержку тем, что "неоткуда было позвонить". Здесь это не пройдет.

Телефон не выступает и в качестве символа престижа. Еще Паркинсон предлагал определять социальный статус чиновника произведением трех переменных — толщины ковра в кабинете, числом дверей, отделяющих кабинет от приемной и числом телефонов. Он был удивительно прав в отношении общества, где я прожил лучшие годы своей жизни. А как насчет этих двух магических букв — ВЧ. Разве все начальники не делятся на две группы в зависимости от обладания ВЧ?

В 1969 году в "Правде" я был размещен вместе со своим штабом социологов (мы проводили обследование читателей) в кабинете находящегося в отпуску ответственного секретаря, где был этот аппарат. У нас у всех было чувство причастности к самым глубинам власти.

Так вот, рыночная экономика способна лишить людей и этого удовольствия. Действительно, "все на продажу"! Изобилие телефонных аппаратов разных типов здесь умопомрачительное. Нет ничего проще, чем приобрести аппарат, способный на чудеса: отвечать сразу нескольким абонентам, записывать разговор, удерживать в памяти наиболее часто используемые номера телефонов (они затем вызываются нажатием кнопки), обеспечить разговор нескольких лиц одновременно и на расстояни и т.п. Поэтому трудно предположить, что са-

мый изощренный телефонный аппарат может выполнять престижную роль, как, например, доступ в ложу Метрополитен-оперы, в роскошный салон самолета и т.п.

Конечно, не следует ни в коей мере преуменьшать роль дохода. Различия в нем играют огромную роль в этой стране, несопоставимую с социалистическим обществом, где дифференциация происходит по другим признакам. Однако люди, для которых полезность данного блага кажется высокой, способны оказаться в одной группе с самыми богатыми людьми, также обладателями этого блага. Естественно, это не касается людей с низким доходом.

Телефон здесь также лишен боевых качеств, которые ему были присущи там. Каждый раз, когда я прибегал к телефону для связи с учреждениями, я осознавал, что другая сторона может в любой момент положить трубку, и ты никак не сможешь этому противодействовать. Поэтому, если ты и вступил в контакт с телефонисткой или секретаршей, ты должен использовать первые секунды для того, чтобы завоевать минимальную симпатию девицы и пробудить в ней хоть какие-то эмоции. Как здесь не вспомнить замечательный эксперимент, осуществленный Рубиновым в "ЛГ", когда он попросил начальника телефонных станций страны заказать из редакции разговор с каким-то городом! Как регулярно посылала телефонистка абонента подальше, когда он, испытывая муки ярости, должен был терпеливо упрашивать ее дать ему разговор с двухчасовым опозданием. Хамство секретарей начальников было строго пропорционально их статусу.

Представьте себе: телефонный разговор, с кем бы из официальных лиц он ни состоялся, здесь всегда благожелателен. Секретарша любого начальника разговаривает с вами, как с другом.

Однажды я был в бюро претензий местной почты и присутствовал при ответах на вопросы трудящихся по телефону. У меня было ощущение какой-то нереальности. Я даже не удержался и спросил служащую: "Вы представляете себе, как ваша коллега за океаном реагирует на десятую часть таких звонков?" Я не думаю, что она поняла суть моих размышлений о разнице культур применительно к почтовой деятельности.

И еще одно соображение в этой связи. Иногда реакция секретарши на вашу фамилию — это безошибочный индикатор отношения к вам ее начальника. В других случаях этот показатель не работает: за безупречно вежливым разговором с вами может скрываться полное пренебрежение к вам ее шефа. Однако ей самой "дороже" быть с вами невежливой.

Сквозь призму телефона интересно остановиться и на эмигрантской жизни. (Замечу, что некоторые из моих знакомых, ставших обладателями американского паспорта, не хотят уже называть себя эмигрантами.) Я же причисляю себя к ним, хотя в рассуждении упомянутых лиц имеется рациональное зерно, которое относится к играм, затеваемым иногда все теми же эмигрантами: "А если бы там-то и там-то произошло то-то и то-то, то вернулись бы вы или нет?"

Несомненно, что по интенсивности использования телефона эмигранты намного превосходят американцев. В эмигрантских домах телефон трещит непрерывно, как в Москве. В телефонных разговорах они пытаются воссоздать привычную для них российскую атмосферу. Особенно примечательны междугородные разговоры, которые тоже ведутся активно. Насколько мне известно, практически никому из эмигрантов не удалось приобрести американских друзей, несмотря на активнейшие старания некоторых стать "чистыми американцами" и доказать себе и другим, что и по этой части все в порядке. Даже самые общительные из них, живущие в больших городах, в конце концов вынуждены, хотя и крайне неохотно, признать, что если у них и есть друзья, так это "свой брат — эмигрант". Именно поэтому телефон так важен в эмигрантской жизни.

Особо следует остановиться на междугородных разговорах. У каждого эмигранта или, точнее, у многих, складывается определенная система телефонных контактов с теми, кого он считает в Америке своими друзьями. Далеко не со всеми он поддерживал бы подобные контакты в прошлой жизни. Однако покупаешь и маргарин, когда нет масла. Требования

к контактам здесь значительно снижаются. И те, кто, по их собственному мнению, был некогда очень требователен, теперь довольствуется теми, кого он никогда не привел бы к своим старым друзьям в дом. Может быть, поэтому связи между эмигрантами не кажутся очень стабильными.

Впрочем, это все спекуляции, и я давно уже планирую специальное исследование на этот счет. Но, так или иначе, здесь возник феномен, неизвестный у вас — телефонная дружба, телефонные приятели. Возникает определенная норма телефонных звонков. Я, например, звоню Арону* каждую вторую неделю, и он мне соответственно. Конечно, если возникают некоторые события, тогда я и Арон звоним друг другу немедленно. Ординарные телефонные разговоры происходят в субботу или воскресенье: в эти дни они самые дешевые.

Взглянем на роль телефона во внутрисемейных отношениях. Как далеки эмигранты от той жизни, когда все члены семьи жили в одном городе и чуть ли не в одной квартире.

Динамическое общество, непрерывно проводящее конкурсы на замещение всех должностей, не может допустить такого феодального благополучия. Не тут-то было. В поисках работы люди рыщут по всей стране, а если кто-то лепится к определенному месту, то он почти погиб, уже только по этой причине. И примеров таких ("эмигрантского характера!") великое множество. Мой любимый Академгородок потому должен был захиреть, что он стал функционировать по общему принципу — никакой текучести. И городок из яркого скопления молодых гениев, каким он был в начале шестидесятых, превратился в угрюмое местожительство пожилых и очень старых людей всего через каких-нибудь 10-15 лет.

Телефонные отношения между родственниками отличаются более благожелательным характером, чем те, что можно было бы назвать "лицом к лицу". Твой сын или дочь, если ты окажешься чересчур наглым, могут тотчас же прекратить контакты, что гораздо труднее сделать во втором случае. Поэтому телефонные связи воспитывают отцов и детей в уважении друг к другу.

Митя, который регулярно подвергался различным внушениям, первым среди нас осознал великую силу телефона, и неоднократно клал телефонную трубку туда, где ей положено быть. И, конечно, интенсивность телефонных звонков — это хорошее мерило отношений с вашими родственниками, равно как и с теми, кого здесь, в Америке, с легкостью называют друзьями. Впрочем, это весьма тривиальное наблюдение.

---

* Профессор Каценелинбойген — друг автора.

Международные телефонные разговоры — это тема для отдельной диссертации. Оставим в стороне автоматическое соединение. Хотя чуть ли не два года у меня не проходило ощущение, что это чудо и что такого не может быть. Казалось, мы свидетели того, что техника победила. Так нет же. Как мы знаем, не везде. Нет, не беспокойтесь, не буду развивать эту тему. При "оперативной" связи вы вступаете в краткий, но по своему выразительный контакт с тамошней телефонисткой, которая только в редких случаях проявляет радость от того, что слышит знакомый язык в далеком Мичигане. Мне понадобилось известное время, чтобы понять, как надо разговаривать через океан. Только о пустяках. Только они, пустяки — "что пьете?", "что видели в кино?" "что поделывает третьестепенный знакомый?" — создают ощущение близости с вами, "дорогие друзья".

Ни в коем случае не следует затрагивать общие темы, — это, грубо говоря, выброшенные деньги. Только мелочи. Кстати, о деньгах. Как всякий количественный показатель, расходы на межокеанские разговоры что-то измеряют. Но весь вопрос — что? Некоторые граждане за океаном пытаются с помощью динамики этого показателя определить изменение моего благосостояния. Как они неправы! Прямо-таки используй этот пример на лекции по методологии социологических исследований. В данном случае, дорогие друзья, он измеряет только любовь к вам и горечь разлуки с вами. И когда моя внутренняя бухгалтерия сопротивляется моим буйствам, я ее успокаиваю тем, что еще никогда не жалел денег, истраченных на своих друзей.

Я хочу закончить этот телефонный текст на меланхолической ноте. Телефон в моем оффисе звонит в общем редко. Американские обычаи, напластанные на мою эмигрантность,

плюс отсутствие в Лансинге эмигрантов тому виной. Иногда от этого делается грустно. Там телефон начинал звонить иногда в полвосьмого, и тебя будил голос очень дорогого тебе человека. И если он тебя лишил даже часа сна, то тем радостнее было от того что именно он привел тебя в бодрствование.

Конечно, эмиграция в ее материально благополучном варианте (несопоставимом с прежними эмиграциями в Америку) легка тем, кто не был эмоционально включен в культуру России, кто не сумел приобрести там больших "эмоциональных накоплений" — отсюда решающая роль возраста.

Там телефон меня связывал тысячами нитей и с моими дорогими друзьями и с десятками культурных единиц. Здесь такой роли он для меня не играет. Он здесь деловой, ответственный, вежливый, услужливый, деликатный. Он был дико эмоциональный, таил страсть и страх, был груб, нагл и бесконечно душевен. Он был непредсказуем, и уже этим был эмоционально необычно важен. Там я его накрывал подушкой, смотрел на него с опаской и не мог минуты прожить без него. Здесь он чопорный джентльмен. Там он — эмоционально неуравновешенная, притягательная женщина. При всем том, теперь я предпочитаю, с учетом всех обстоятельств иметь дело с ним, местным телефоном, и прежде всего потому, что он справедлив.

Привет. Володя

Борис ХАЗАНОВ

ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ О ЛИБЕРАЛИЗМЕ

В сто сороковом номере журнала "Вестник Русского христианского движения" напечатана статья княгини Зинаиды Алексеевны Шаховской "О либералах. На опасные темы". Слово либералы поставлено автором в кавычки; по-видимому, это означает, что лица, упоминаемые в статье — А.Янов, К.Любарский, Е.Эткинд, А.Синявский и другие, — не настоящие либералы или по крайней мере не те, за кого они себя выдают. Автор дает обобщенную характеристику этих людей. Все они отличаются нетерпимостью и дружно ненавидят Россию. Они — враги православной церкви. Перспектива освобождения русского народа их пугает. Они вскормлены марксизмом, занимали в Советском Союзе видные посты и теперь продолжают тосковать по марксизму; этим объясняется их стремление во что бы то ни стало доказать, что марксизм чисто русская идеология.

Одновременно в статье сделана попытка охарактеризовать всю эмиграцию 70-х годов, к которой принадлежат мнимые

либералы. Эта эмиграция, по мнению автора, не может считаться русской. Она состоит из евреев или тех, кто выехал при содействии евреев, и должна называться не русской, а советской.

Возражать против положений статьи трудно, так как З.А. Шаховская не подкрепила свои утверждения конкретными ссылками и не всегда ясно, кого именно среди названных ею — в действительности очень разных — людей она имеет в виду. Кроме того, ее оценки непоследовательны: если "либералы" — скрытые марксисты и если, с другой стороны, ими руководит ненависть к России, почему они стараются доказать, что марксизм — русская идеология?

Я не имею права оспаривать и утверждение, будто эмиграция послевоенного времени — не русская, так как я сам еврей. У меня нет намерения дискутировать с г-жой Шаховской по общим вопросам; если ей хочется называть людей нашего поколения и нашей судьбы советскими людьми — пусть будет так: это только лишний раз показывает, что провести четкую границу между понятиями "русский" и "советский" не так просто, как это кажется людям, не жившим в СССР.

Однако мне бросились в глаза некоторые замечания автора, не отвечающие, как мне кажется, той этической и культурной традиции, от имени которой выступает г-жа Шаховская. Я не могу здесь перечислить все те неловкости, которые она или редактор не сочли нужным вычеркнуть из текста статьи, и ограничусь несколькими.

Поводом для выступления Шаховской послужила, по ее словам, книга А.Янова "Новая русская правая". Она добавляет: "Мне мало что известно об авторе: бывший партиец, литературовед..." Очевидно, что упоминание о бывшем партийце, несмотря на то что Шаховская почти ничего не знает о Янове, не случайно. Оно должно дать понять читателю, что он имеет дело с заведомо нечестным человеком. Боюсь, что и мои собственные высказывания можно ниспровергнуть аналогичным приемом: хотя я не был ни "партийцем", ни комсомольцем, однако я состоял в пионерской организации,

участвовал в пионерских линейках. Можно предположить, что и сама Зинаида Алексеевна не застрахована от подобной полемики.

Я не обсуждаю здесь концепцию Александра Янова. С ней можно согласиться или не согласиться. Но мне непонятно, каким образом журналистка, выступающая в защиту попранных русских ценностей, решилась прибегнуть к приему, который называется argumentum ad hominem и в России всегда считался достоянием желтой прессы. Желая опровергнуть взгляды оппонента, стараются опорочить его как человека, ссылаясь на те или иные детали его биографии.

То же оружие применено против А.Синявского. Автор статьи пишет: "...был в лагере, по-видимому, в довольно благоприятных условиях, позволивших ему не прерывать литературную деятельность, и, вернувшись в Москву, можно предположить, был он там окружен культом личности..." Это первое, с чего З.А.Шаховская начинает.

Судьба не предоставила княгине Шаховской счастливую возможность заниматься литературным творчеством в концлагере, и этим, вероятно, объясняется тон ее замечаний. В противном случае она постыдилась бы так писать. Мне же всегда казалось, что человек, не сидевший в лагере, не имеющий представления о том, что это такое, не имеет морального права уличать бывшего заключенного, кем бы он ни был, в том, что тот вел райскую жизнь в заключении. Я не могу понять, почему это соображение, диктуемое простой порядочностью, не приходит в голову автору статьи.

"Отношение его /Синявского/ к Солженицыну, показывает, что ему как-то тесно в одном мире с этим писателем". Было бы интересно узнать, откуда Зинаида Алексеевна это вычитала и что, собственно, означает ее фраза. Что Синявский желает смерти Солженицыну? Поразительно легкомыслие, с которым пожилая дама отпускает колкости по адресу людей, которых она, по ее собственному признанию, не знает. Синявский, замечает З.А.Шаховская, занимает среди "либералов" особое место: "К номенклатуре он не принадлежал". Другие, следовательно, принадлежали. Тогда можно спросить:

знает ли Зинаида Алексеевна, что такое номенклатура? Ведь уже то, что она пользуется этим термином вместо применяемого в Союзе обозначения "номенклатурные работники", наводит на мысль, что ее сведения сугубо приблизительны. Если бы она понимала, о чем идет речь, она не поставила бы себя в неловкое положение, намекая читателю, что Эткинд, Шрагин, Любарский и так далее — бывшая "номенклатура".

Е.Г.Эткинда автор статьи именует "Э.Эткинд". Допустим, что это опечатка. Далее, однако, говорится о ненависти Эткинда к русскому народу и антирусском расизме. То обстоятельство, что профессор Эткинд несколько десятилетий своей жизни посвятил пропаганде русской культуры, что он автор получившей широкую известность книги о русском стихе, что под его руководством издано первое полное собрание сочинений Пушкина на французском языке и готовится четырехтомная история русской литературы по-итальянски, что благодаря ему опубликована одна из наиболее значительных книг отечественной литературы нашего века — роман Василия Гроссмана "Жизнь и судьба", не может поколебать уверенности г-жи Шаховской в том, что Эткинду ненавистно все русское.

Мне неловко признаться, но обвинения в патологической ненависти к русскому народу, весь этот словарь — поразительно напоминает язык газет в эпоху националистической кампании по борьбе с космополитизмом в СССР.

Что же касается антирусского расизма, то это выражение меня вовсе поставило в тупик. Расизм, как я понимаю, есть злонамеренное предпочтение, отдаваемое одной расе перед другой; в словаре Уэбстера говорится, что расизм — это "утверждение, что особенности психики и культуры предопределены биологической расой, уверенность, будто определенная раса изначально превосходит другие расы и призвана над ними господствовать". Примерно то же сказано в словарях Ушакова и Ожегова. Расизм, таким образом, имеет некоторое квазипозитивное содержание: "низшим" расам противопоставляется "высшая". Какая же?

Если расизм Эткинда и подобных ему — антирусский, то есть направленный против русских, то какой же он? Какова

та раса, которую злополучный Эткинд считает высшей? Таких вопросов можно задать много, и спровоцированы они, я надеюсь, не злой волей автора, а неразборчивостью в средствах.

"Не будь активного, воинствующего юдаизма в странах еврейской диаспоры, — пишет в другом месте З.А.Шаховская, — давно не существовало бы нигде еврейского вопроса". Это, конечно, тоже очень некрасивая фраза. Из нее следует, что то, что обычно подразумевается под еврейским вопросом и его "окончательным решением", обязано своим происхождением самому еврейству. Трудно допустить, чтобы Зинаида Алексеевна Шаховская в самом деле верила, будто приверженцы иудаизма сами виноваты в том, что их постигло в нацистской Германии, что происходило в средневековой Европе, в России и в Советском Союзе; но ведь именно таков смысл ее неосторожного заявления. Кстати, фраза, которую она роняет попутно, — что иудаизм в странах рассеяния обусловил возникновение государства Израиль, — также не вполне корректна. Наоборот, религиозная ортодоксия была той силой внутри еврейства, которая противопоставила себя политическому сионизму и выступила против возрождения "земного Иерусалима".

Но в конце концов все это не так уж важно, ведь задача статьи другая: разоблачить новоявленных либералов, недавних советских эмигрантов как мнимых представителей России. И вот тут выясняется прискорбное обстоятельство. Представления г-жи Шаховской о нашей стране таковы, что разговор о реальных проблемах современной России — или, если угодно, Советского Союза — становится бессмысленным. Выясняется, что она этой страны попросту не знает.

Вот один пример. "Не знаю, — пишет автор статьи, — имеются ли в СССР... "крайние правые", но уверена, что поощрения они от правительства не получают, поскольку известно, что русские националисты переправляются в Гулаг..."

Одной этой фразы достаточно, чтобы внушить каждому, кто живет в СССР или хотя бы помнит, как там живут, недоверие к суждениям З.А.Шаховской о сегодняшней России.

Можно было бы привести длинный список людей, которые не делают секрета из своего русского национализма и которым отнюдь не грозит опасность отправиться в лагерь. Напротив, национализм открывает им путь к карьере. Русскими националистами являются высокопоставленные советские писатели, такие как Михаил Алексеев, Петр Проскурин, Анатолий Иванов, Вадим Кожевников, Сергей Михалков, Владимир Солоухин, не говоря уже о множестве усопших корифеев, отличившихся в погромно-шовинистических кампаниях сороковых-пятидесятых годов.

Начиная со второй половины тридцатых годов и до сего времени русский национализм является обязательной составной частью советской идеологии и советского мировоззрения; это не случайная мода и не временный тактический прием. Прославление подвигов русского народа, величия русского государства, приоритета русской науки, необычайных достоинств русского национального характера — постоянная тема и неизменный мотив советских кинофильмов, пьес, романов, радиопередач, телевизионных постановок. Невозможно представить себе ни одного идеологического руководителя, который не придерживался бы националистического образа мыслей. Об отборе партийных кадров по национальному признаку, о националистических настроениях в рядах высшего офицерства и КГБ знает в СССР каждый, и можно подумать, что госпожа Шаховская упала с луны.

В заключение замечу, что в этой статье Зинаиде Алексеевне Шаховской изменяет и чувство языка. Статья грешит многими стилистическими небрежностями. По-видимому, существует некая закономерность: крайний национализм часто сочетается с невниманием к тому, что составляет самою душу нации — к ее языку.

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Леонид ШАМКОВИЧ

ЭССЕ О ШАХМАТНОЙ ЭЛИТЕ

Вся моя жизнь связана с шахматами и в очень большой степени с шахматной журналистикой. Мной написано действительно великое множество шахматных эссе, репортажей, новелл и очерков. Но никогда меня не покидало желание написать нечто такое, что, будучи органически связано с шахматной жизнью, в то же время выходит далеко за пределы журналистики. Мне кажется, что рамки этого жанра слишком тесны для того, чтобы приблизиться к пониманию психологии тех, кого принято называть великими шахматистами и благодаря таланту которых шахматы переживают сегодня великие триумфы.

Жизнь моя сложилась так, что мне приходилось постоянно встречаться с выдающимися мастерами. С такими, как Ботвинник и Бондаревский, я был хорошо знаком, с другими, как, например, со Смысловым или Мишей Талем, меня связывала близкая дружба. Но так или иначе, жизнь их всех протекала на моих глазах. Их взлеты и падения, их психоло-

гические драмы и иногда даже трагедии — всему этому я часто бывал вольным или невольным свидетелем.

Разумеется, я не в силах сколь-нибудь полно представить богатейшую мозаику их жизни. Но если мне удастся обрисовать какие-то дополнительные черты их характеров и благодаря этому они предстанут более выпуклыми, живыми и пластичными, то уже тогда я почту свою задачу выполненной.

И по сей день так называемый "советский шахматный феномен" остается загадкой для западных наблюдателей. Это и впрямь парадокс — что не в свободном мире, где такой простор для творчества, а при тоталитарном режиме выросло столь блестящее созвездие шахматных мастеров. Но если вдуматься, этому противоречию не так уж трудно найти объяснение.

Дело в том, что шахматы в силу самой своей сущности оказались неподвластны режиму, стремящемуся установить контроль над мыслью и творчеством. Даже к музыке и живописи оказалось возможным подойти с критериями партийности и таким образом исключить возможность свободного творчества.

Шахматы остались единственной или почти единственной областью, где талант мог свободно проявить себя, и ничто не могло помешать самовыражению личности.

В серой советской жизни задушены почти все возможности для проявления интеллекта, фантазии, игры ума, борьбы страстей. И потому шахматы тут явились своего рода аналогом, алгоритмом жизни, где задавленные режимом таланты могли проявить себя во всю мощь.

Более того, режим даже в сталинскую эру (а может быть, и прежде всего в сталинскую эру), с его амбициями быть первым во всем парадоксальным образом поддреживал, растил, если хотите, лелеял шахматные таланты. Чтобы провозгласить советскую шахматную школу лучшей в мире, он был готов даже смириться с тем, что многие блестящие ее представители были евреями, что, по-существу, это была еврейская шахматная школа. И вот вам еще один парадокс: еврейские головы, еврейские умы создавали и продолжают создавать великую шахматную славу самой антисемитской державе.

Впрочем, шахматы сами по себе самоценность, как мы уже сказали, не подвластная ни партии, ни идеологии, и, развивая их, эти блестящие еврейские умы вносят неоценимый вклад в мировую культуру.

БОТВИННИК

Ботвинника я впервые увидел в 1959 году, когда переехал в Москву. Это были уже годы расцвета его шахматной славы. Со своим шахматным окружением он был довольно холоден, чтобы не сказать высокомерен. И я, молодой еще в те годы шахматист, не был исключением.

Уже тогда можно было говорить о шахматном феномене Ботвинника. Но, думаю, что как личность он начал формироваться гораздо раньше, ибо уже с середины 30-х годов занимал особое место в советской шахматной иерархии.

Даже в те годы, когда, выиграв несколько турниров, он стал первым советским гроссмейстером, — даже тогда Ботвинник был не просто первым, он был шахматной звездой. Сравнить с ним нельзя было никого по авторитету и классу игры.

Не случайно до войны каждый из нас смотрел на него как на некое божество. Я хочу на этом остановиться, потому что сравнительно недавно встретил Ботвинника уже в Нью-Йорке. Ему было 73 года, и в чем-то он был уже другим. Немного позже я сравню этих двух Ботвинников, а пока хотел бы обратиться к его юности.

Он был сыном петербургского дантиста, человека весьма состоятельного, и поэтому, несмотря на свое еврейство, получившего еще до революции право жительства в Петербурге.

Родился Ботвинник в 1911 году. По-видимому, "мелкобуржуазное происхождение" какое-то время давало о себе знать.

Известен анекдотический случай, который произошел с ним, когда он поступал в Ленинградский Политехнический институт. Может быть, впервые тогда шахматный талант пришел ему на помощь.

Это был примерно 29-й год, год, когда для будущих студентов почти обязательным было пролетарское происхождение. И конечно же, Ботвинник со своим отцом-дантистом имел нулевые шансы попасть в вуз. Тогда-то, совершенно неожиданно, и вступился за него уже известный в то время шахматный деятель Рохлин. Это был человек необычайно ловкий и энергичный, который первый оценил, насколько талантлив был юный Ботвинник. Рохлин пришел в приемную комиссию и произнес в защиту Ботвинника пламенную речь, заявив, что на самом деле он из пролетарской семьи. Да, его отец действительно был зубной врач, но это был пролетарский зубной врач, который лечил рабочих, крестьян и солдат. В конце концов он так заморочил комиссии голову, что Ботвинника все-таки приняли в институт, и именно с этим институтом впоследствии была связана вся его научная карьера.

Повторяю, я не знаю другого советского шахматиста, который пережил бы такой головокружительный взлет, как Ботвинник. В 25 лет он уже стал абсолютным чемпионом СССР. Фортуна в те годы явно благоволила к нему.

Наверное, не всем известно, что шахматным боссом в СССР тогда был наркомюст Николай Крыленко, который любил шахматы, неплохо играл и, надо отдать ему должное, много сделал для их развития. Так вот, Крыленко лично очень симпатизировал Ботвиннику. Мало этого, он относился к нему с определеннным почтением и даже пиететом. Отношения у них, по крайней мере для тех лет, сложились весьма своеобразные.

В то время как перед могущественным Крыленко кругом заискивали или его смертельно боялись, Ботвинник к нему относился на равных.

Я думаю, в те годы и складывалась линия поведения Ботвинника, который всегда держал себя независимо, начиная с юных лет. Это не мешало ему быть достаточно гибким и осторожным. Но он никогда не делал подлостей и не унижался, что резко отличало его от многих даже среди его шахматного окружения. Не думаю, что это объяснялось особым

личным мужеством Ботвинника. Просто он хорошо знал себе цену и в какой-то мере ощущал собственную незаменимость: могли арестовать любого министра, писателя, деятеля искусств, но с ним это сделать было достаточно трудно — другого Ботвинника в стране не было.

Тогдашний его секундант, мастер Гольдберг, рассказывал мне такой случай. В 1935 году в Москве состоялся Первый Московский международный турнир. Играли Ласкер, Капабланка да и не только они…

На финише этого международного турнира лидировал Ботвинник, которому предстояло сыграть последнюю партию с известнейшим по тем временам мастером — Ильей Рабиновичем. Рабинович не был сильной личностью, и, если бы ему приказали, он бы безропотно проиграл.

И вот накануне партии Крыленко приглашает Ботвинника и говорит: "Миша, все в порядке, Рабинович проигрывает. Тут нет вопроса. И ты — либо станешь единоличным победителем, либо — в крайнем случае — разделишь первое и второе место".

На это, по словам Гольдберга, Ботвинник ответил следующее: "Я не желаю на эту тему вообще беседовать — будет честная игра!" — и, сухо попрощавшись с Крыленко, вышел из комнаты.

В те годы мало кто мог себе позволить говорить таким тоном с Крыленко.

На следующий день состоялась игра — очень упорная, тяжелая, но совершенно честная, и в результате турнира Ботвинник разделил первое и второе место с Сало Флором.

Вернемся, однако, к характеру Ботвинника. Это был типичный аскет и педант, с не очень выраженной еврейской внешностью. И если в нем что-то поражало, то это необычайно холодные пронизывающие глаза.

Говорил он слегка грассируя, густым баритоном, но очень внушительно, тоном, исключающим всякий спор и вообще противоположную точку зрения. То, что говорил Ботвинник. и было истиной. Часто он даже не говорил, а выносил приговор.

В связи с этим вспоминаю эпизод, рассказанный мне Борисом Спасским. Спасский — человек очень живой, разносторонне одаренный, к тому же обладает великолепными эстрадными способностями — он потрясающе подражает голосам людей, и если его завести, то с блеском изображает юмористические сценки на любую тему.

Так вот, однажды он решил изобразить Ботвинника. Сцена была примерно такая. Тренером у Ботвинника был в то время Семен Фурман. Турнир происходил где-то за рубежом. И Ботвинник отложил свою партию — играл он как раз с Фишером — это был их единственный поединок. Партию он отложил в трудном положении и при этом очень лаконично сказал Фурману как своему секунданту: "Вот вам позиция. Проанализируйте. И дайте мне завтра результат". И тут же добавил: "Распишитесь, что я дал вам эту позицию". (Ботвинник всегда в таких случаях настаивал на росписи, он требовал ее даже на анализе партии. Если кто-то разобрал партию и вручал ему ее анализ, он его не брал, пока автор анализа не ставил свою подпись.)

Фурман был выдающийся теоретик, аналитик, он сидел, анализировал, нашел массу любопытного. На следующий день встречается с Ботвинником и все ему отдает. "Вы расписались?" — последовал первый вопрос. "Да!" — "Хорошо, оставьте, я вам скажу через пару часов".

Через пару часов они встречаются и сгорающий от нетерпения Фурман спрашивает: "Ну как, Михал Моисеич, как мой анализ?" — "Ваш анализ — бред!". — "Ну как же так, Михал Моисеич, я нашел там хорошие шансы на спасение!" — "Разговор окончен!"

Таким он был всегда. Сухарь и аскет, не позволяющий себе в жизни ничего, способный доводить самого себя до изнурения, если этого требовала цель, то есть победа, к которой он стремился. Таким же жестоким он был по отношению к другим. Жестоким, сухим и абсолютно нещедрым на похвалы.

Естественно, у него была масса недругов. Известно, например, что на него смертельно обиделся Бронштейн после матча 1953 года. Бронштейн выигрывал у Ботвинника. Но в конце матча он проиграл партию, и матч закончился вничью. В таких

случаях принято хвалить партнера, отдавать должное классу его игры, а Ботвинник написал в своем "Сборнике лучших партий": "Да, я пришел к выводу, что Бронштейн неплохой тактик". Подобное обычно пишут о способных любителях, но не о мастерах мирового класса.

Мои встречи с Ботвинником были весьма короткими. Но и в них проявились некоторые черты его характера и, в частности, его подозрительность.

Однажды я рассказал ему, что встретил за рубежом шахматиста О'Келли, который хотел бы иметь его книгу с автографом. "Вот у меня книга", — сказал я . "О'Келли, — стал он судорожно вспоминать. — О'Келли... Что-то он, по-моему обо мне нелестное писал!"

Дело в том, что у Ботвинника, помимо всего прочего, была специальная тетрадь, в которой перечислялись все существовавшие о нем отзывы как хорошие, так и плохие. Он специально вел такой учет. "Я сейчас не помню, но, по-моему, он где-то нелестно обо мне отозвался", — снова повторил Ботвинник. Я уж было хотел уходить, но в последнюю минуту он все-таки подписал книгу, пробурчав что-то маловразумительное.

С другой стороны, если Ботвинник чего-то хотел или требовал, заставить его отказаться от этого требования было невозможно. Не то чтобы он выдвигал какую-нибудь неотразимую аргументацию, нет, он просто обладал железной способностью стоять на своем.

Как-то он едва не довел до истерики бывшего председателями Комитета по делам физкультуры и спорта Павлова. В кабинете у Павлова состоялась встреча всех московских гроссмейстеров.

Обращаясь к ним, он начал очень торжественно, дескать, так и так, у нас выбран новый председатель Всесоюзной шахматной федерации, и мы по-деловому должны обсудить наши задачи, наметить новые планы. Неожиданно поднимает руку Ботвинник и говорит следующее: "Сергей Владимирович, я хотел бы прежде, чем мы начнем обсуждать новые задачи, услышать вашу оценку деятельности предыдущего состава правления и его председателя" (Ботвинник с ними поссорился и

был возмущен какими-то их делами). На что Павлов, несколько замешкавшись, ответил: "Да что ж, товарищи, сейчас вспоминать, может быть, у них и были какие-то ошибки, но зачем ворошить прошлое? У нас сейчас новый состав, вот и давайте говорить о его будущей работе".

Кто-то что-то предложил, но очень скоро Ботвинник поднялся снова и в точности повторил сказанное им несколько минут назад: "Сергей Владимирович, я очень хотел бы услышать от вас ваше мнение о деятельности предыдущего состава и его председателя".

Суть заключалась в том, что бывший председатель шахматной федерации Серов был ответственным работником ЦК партии и, естественно, Павлов не хотел его задевать. Но Ботвинник так в него вцепился, что мне было крайне интересно, чем же это кончится. Павлов покраснел и теперь уже возмущенно воскликнул: "Михаил Моисеич! Ну что вы на меня наседаете! Что вы от меня хотите?" — "Я хочу, Сергей Владимирович, — не дрогнул ни один мускул на лице Ботвинника, — чтобы вы высказали ваше мнение о работе бывшего председателя Шахматной федерации!" И Павлов вынужден был что-то промямлить. Конечно, по существу он ничего не сказал, но и уйти от мертвой хватки Ботвинника ему не удалось.

В СССР существовало мнение, что из всех шахматистов Ботвинник единственный не был профессионалом. Он был научным работником, доктором технических наук, и благодаря этому его личность была окружена еще большим ореолом: вот ведь не только великий шахматист, но и ученый. В общем все это было так и не совсем так.

В свое время, когда он был еще аспирантом Политехнического института, но уже находился в зените шахматной славы, был великим Ботвинником, шахматные успехи помогли ему сделать и научную карьеру — он без особого труда защитил кандидатскую, а потом и докторскую диссертацию, но назвать его ученым, а не профессиональным шахматистом, разумеется, неверно.

Когда в 1948 году он готовился к мировому первенству, то четыре года исключительно занимался шахматами, — наука для него тогда не существовала. А когда первенство завоевал, то в следующие четыре года забыл о шахматах.

В общей сложности "непрофессионал" Ботвинник был (с небольшими перерывами) чемпионом мира с 1948 по 1963 год, то есть пятнадцать лет!

К началу 60-х годов выросла целая плеяда блестящих гроссмейстеров, которая ему ничуть не уступала, но он с ними почти не соревновался. Однако, когда дело доходило до турниров, где необходимо было проявить высочайшую технику, мастерство анализа и — что очень важно — несокрушимую волю к победе, Ботвинник, как правило, одерживал верх.

На Западе часто интересуются личной жизнью Ботвинника. Мне кажется, личной жизни у него вообще не было. По крайней мере, до тех пор, пока он не ушел с шахматной арены.

Большую часть времени он проводил на даче, при этом у него был жесточайший распорядок дня. Он проделывал ежедневно по восемь-десять километров пешком. Дорожил каждой минутой.

Жил он по-соседству с Капицей, который его очень любил. Вообще его любили и даже преклонялись перед ним многие из крупных ученых — Ландау, академик Иоффе... Все они видели в нем крупную личность, наделенную железной волей и мощным аппаратом логического мышления.

Женат он был на ленинградской балерине — армянке Гаянэ Анановой. Ананов был профессором Политехнического института, у которого я в свое время учился.

У Гаянэ творилось что-то неладное с психикой, и время от времени она попадала в психиатрическую больницу. Злые языки говорили: "С таким человеком, как Ботвинник, не мудрено сойти с ума!"

Конечно, в семье он был очень деспотичен, особенно, когда играл в шахматы. В такие дни с ним невозможно было общаться. Он был замкнут, не открывал газет, становился непереносимо тяжелым человеком. Не случайно говорили, что во время турниров к нему не подъедешь и на белой козе. Да и не только во время турнира. Он был человеком, имеющим на все свои взгляды и концепции. Об одних он говорил вслух, о

других умалчивал, но тем не менее в жизнь проводил. Так, например, он никогда не считал возможным относиться с симпатией к своему противнику за шахматной доской. И любым способом возбуждал в себе к нему неприязнь.

Перед тем как сесть играть с Петросяном, оба гроссмейстера удалились в отдельную комнату в Шахматном клубе, чтобы обсудить процедуру матча. Вокруг дежурили репортеры в ожидании, что вот-вот противники выйдут и сообщат важную информацию. Но неожиданно дверь распахнулась и, не глядя ни на кого, вышел Ботвинник. Единственно, что он успел бросить: "Никогда в жизни не видел такого интригана!"

Некоторые называют Ботвинника сталинистом. Я бы вообще не рискнул обрисовать его какой-то одной краской. Он человек сложный, противоречивый и нелегкий. Иногда казалось, что за его внешне бесстрастным лицом скрывается бурный темперамент, быть может, играли в нем страсти, достойные пера Достоевского. Но если это и было так, то он умел это великолепно скрывать. Он не был сталинистом, но был сыном своего времени — когда во всех областях жизни вырабатывались свои нравственно-этические нормы. К ним можно отнести сухость и даже деспотичность Ботвинника и, конечно же, его принимающую иногда маниакальный характер подозрительность.

Во время турниров он не доверял никому, даже своему секунданту Сало Флору. Он вел кондуит своих врагов и хотел точно знать, что и кто о нем говорит. Но в то же время сила его характера и таланта и уверенность в себе помогали ему всегда оставаться в границах порядочности. Он никогда не лебезил перед властями, не подписывал всяких осуждающих писем. Он вообще решительно отказывался подписывать письма, сочиненные не им, и потому с такими посланиями просто не решались являться к нему.

С конца 60-х годов Ботвинник круто меняет свою личную жизнь. Он объявляет, что перестает играть и примерно с этого времени отказывается от привычного ему аскетизма. Еще недавно, когда на банкете ему предлагали выпить, он интересовался, что за вино, и никогда не выпивал больше бокала. С

конца 60-х он словно бы хочет взять реванш. У него появляются увлечения, он не отказывает себе ни в каких жизненных удовольствиях.

Перестав играть, Ботвинник фанатически берется за создание электронного "гроссмейстера", то есть шахматной электронно-счетной машины. В том институте, где он работал, ему предоставляют лабораторию и даже выделяют так называемые компьютерные часы. С этого времени он начал большую работу в области программирования шахматной игры. Он вообще задался безумной, с моей точки зрения, идеей — создать машину, которая будет обыгрывать всех, если он заложит в нее свой метод игры. Это была своего рода фаустовская идея. Мне было с самого начала ясно, что он занялся проблемой перпетуум-мобиле. Он давным-давно объявил, что через несколько лет все будет готово. Потом писал, что ввиду неразберихи, царящей в инстиуте, и отставания компьютерной техники, программу эту сорвали. Но он до сих пор продолжает этим заниматься и в связи с этим, кстати, и приехал в Нью-Йорк. Здесь-то мы с ним снова встретились и говорили.

В Нью-Йорке проходил международный форум или, как его официально называли, Международный чемпионат по электронно-счетным программам. Кстати, компьютеры с заложенными в них программами, действительно играли между собой. Проходило это в отеле Хилтон, где в огромном зале были выставлены компьютеры — их было штук тридцать, не меньше — из Англии, из Франции, из Бельгии, из Америки.

И вот буквально накануне я услышал, что Ботвинник тоже приезжает со своей знаменитой машиной "Пионер". Первая его машина называлась "Каисса", по имени богини шахмат.

Ожидалось, что туда будет заложена самая совершенная программа. Однако ее техническая база вряд ли могла быть на западном уровне. Не скрою, было очень интересно увидеть, на что же способна машина Ботвинника.

Я вошел в зал, спросил у дежурного, где Ботвинник. Мне показали, но, честно говоря, я не решился сразу к нему подойти. Он был официальным представителем Советского Союза и встречей со мной мог себя скомпрометировать.

Тогда, через одного человека, я решил спросить у Ботвинника — не против ли он будет со мной побеседовать. Он тотчас обернулся. Оживился, подозвал меня. Я сел возле него, и мы заговорили. Как ни странно, здесь, в Нью-Йорке, он был более дружественным, чем там, где он обычно бывал сух и высокомерен.

Я сказал, что он неплохо выглядит. "Да, — ответил он, — только поседел, как видите". Он действительно поседел, хотя оставался таким же поджарым, и лицо у него было отнюдь не семидесятитрехлетнего человека.

Разговор зашел о машине. "Что говорить? — сказал он, — мощную программу американцы выставили".

А американцы, между прочим, выставили четыре машины. Одна из них была "Белл", изготовленная телефонной компанией. Другая машина — фирмы я не помню — была еще более совершенна, ее энергетической основой был компьютер, обслуживающий армию. Он обладал такой мощностью, которая в Союзе и не снилась. "Ну как можно с ними конкурировать!" — воскликнул Ботвинник.

Я поинтересовался, где же его машина. "Не привез я", — ответил он. "Почему, Михал Моисеич?" — "Потому что кое-что там недоработано. Я собирался привезти, но она не была готова..."

Кстати, всему этому предшествовал скандал такого рода. Общество по культурным связям СССР с Америкой предложило американским специалистам по шахматному программированию приехать на симпозиум в СССР. В частности, приглашение было послано мистеру Томпсону, конструктору машины "Белл". Пригласили его вместе с компьютером. Я не знаю, был ли посвящен в эти планы Ботвинник, но кто-то явно рассчитывал на то, чтобы выкрасть секреты Томпсона.

И вот Томпсон, будучи человеком левых убеждений, погрузил эту машину и отправился в аэропорт. И все было бы очень хорошо, и машина попала бы в Советский Союз, если бы американцы не задержали в аэропорту Кеннеди этот компьютер. Дело в том, что в США существует запрет на вывоз техники стратегического значения.

В связи с этим в советской прессе разразился большой скандал. Газеты обвиняли США в стремлении разжечь "холодную войну". И именно после этого Ботвинник приехал в Нью-Йорк.

Я уже говорил, что он был умным и тонким человеком. Поэтому, не упоминая о скандале и словом, устроил пресс-конференцию, поблагодарил устроителей компьютерного чемпионата. Он говорил, что это большой шаг на пути моделирования человеческого мышления и со временем, конечно, машина будет обыгрывать живого человека. (Кстати, для меня и по сей день непонятно, почему Ботвинник к этому так фанатично стремится. Таль, например, однажды сказал, что, возможно, это когда-нибудь и произойдет, но не дай бог, если произойдет!)

После пресс-конференции одна из компаний, кажется та же "Белл", преподнесла ему подарок — современный домашний компьютер. Присутствовавший Лев Альбурт, который в этом неплохо разбирается, воскликнул: "Михаил Моисеич! Это превосходная вещь, она доставит вам массу удовольствий". На что Ботвинник без тени улыбки заметил: "Дай бог, чтоб меня пропустили через границу".

Затем мы встретились в Шахматном клубе. Причем Ботвинник не отказался побеседовать даже с невозвращенцем Альбуртом. Более того, он сфотографировался с ним, хотя кто-нибудь другой на его месте, вероятно, не решился бы даже к нему приблизиться.

Вообще мне кажется, что с годами Ботвинник как-то изменился. Стал мягче что ли, гибче. В его облике появилось что-то более человечное. Но, с другой стороны, я думаю, что характер его остался тем же. Он был и есть сын своего времени, своей эпохи. На одной встрече его спросили, кем он считает себя сам. Последовал ответ, который лучше всего характеризует Ботвинника: "По происхождению я еврей, по культуре — я русский человек, а по воспитанию — советский".

Как человек блестящего ума, он, конечно, не может не видеть происходящего в СССР. Я думаю, что многое ему в той жизни претит, что он никогда не принимал и не примет ее

фальши. Но, с другой стороны, он вырос в этой жизни, он ощущает себя ее частью и до конца своих дней не перестанет этого ощущать.

СМЫСЛОВ

Если можно себе представить человека, диаметрально противоположного Ботвиннику по складу ума, характера, манере себя вести, то именно таким был Василий Васильевич Смыслов.

Впервые я встретил его еще в годы молодости. Но ближе познакомился опять же после переезда в Москву, в 1959 году. Не раз играл с ним и встречался на сборах.

Ботвинник был технократ, аскет, вечно погруженный в себя и довольно часто свысока относящийся к окружению. Смыслов по складу характера — типичный русский интеллигент, мягкий, деликатный и, если хотите, даже чудаковатый.

Во время учебно-тренировочных сборов в Подмосковье мы часто бродили по лесу, собирали грибы. В лесу Смыслов пел. У него был довольно приятный баритон и, по-моему, где-то в глубине души он очень сожалел, что не стал профессиональным певцом.

Но я не думаю, что кто-то, кроме него, всерьез воспринимал его талант вокалиста, хотя всякий раз, когда собирались компанией и хотели сделать ему приятное, то просили что-нибудь спеть, и он охотно соглашался.

А один раз он даже обиделся на мою жену, хотя и не показал виду. Мы шли втроем по лесу, собирая грибы, и он по обыкновению пел. "Василий Васильевич, нельзя ли немного погромче? — спросила она. — Вы будете для нас ориентиром, чтоб мы не растерялись". Он смолчал. Но я почувствовал, что жена, сама того не желая, как-то задела его.

И вот, даже совсем недавно, когда мы встретились в Лондоне (а я после эмиграции виделся с ним дважды), он рассказал мне, что в Амстердаме собираются сделать его небольшую пластиночку. "А у меня, — говорит, — что-то с голосом случилось. Просто кошмар! Не верите? Хотите, я вам что-нибудь напою?" И он запел.

— Ну что вы, Василий Васильевич, — великолепно! — стал я его разубеждать.

— Да что там, великолепно? Верхов нет! Вы знаете, прихожу я недавно к одному священнику и говорю: "Батюшка, что ж это со мной творится? Голос сел..." — "Э, — говорит, — сын мой, вероятно, вы грешили". — "Да, батюшка, видно, что-то было", — засмеялся, рассказывая мне, Смыслов.

Через некоторое время он, по-видимому, опять обрел голос и пластиночку все-таки записал. Он пел известные русские песни "Из-за острова на стрежень", "Волга-матушка, река", многое из репертуара Шаляпина.

Один раз его даже прослушивали в Большом театре. Но там, разумеется, люди воспитанные, они сказали: "О, как прекрасно, Василь Васильич. У вас такие данные!" Он был счастлив, но затем произошла довольно забавная сценка. Один музыкант из оркестра Большого театра спросил: "Скажите, Василь Васильич, а какая у вас основная профессия?" Это, между прочим, самый страшный вопрос для шахматных профессионалов. Они обычно свирепеют, когда его слышат. Но Смыслов не растерялся и в свою очередь спросил: "Простите, а у вас какая профессия основная?" Тот ответил: "Я играю на флейте". — "А я играю в шахматы", — сказал Смыслов. Все рассмеялись. Он умел легко и элегантно выходить из любого положения.

Впрочем, во время игры он проявлял исключительную волю и устремленность к победе, и эта мощь его шахматного гения резко контрастировала с его мягкостью и чудаковатостью прирожденного интеллигента, каким он представал вне игры.

Смыслов был достойным соперником Ботвинника. И не было бы ошибкой сказать, что фактически он был чемпионом мира много лет, хотя официально этот титул ему принадлежал всего два года.

Смыслов был единственным из соперников Ботвинника, к которому тот относился без тени вражды и, может быть,

даже с некоторой симпатией. Да и трудно было к нему плохо относиться. Он всегда был вежлив и мягок, всюду приезжал со своей супругой Надюшей, которая была ему бесконечно предана, степенно гулял с ней под руку. Кстати, с той же Надюшей, правда, уже постаревшей, недавно приезжал он в Лондон. Она настолько его почитала, что всегда называла по имени и отчеству — Василий Васильевич, даже когда он был совсем молод.

Нужно сказать, что наверху относились к Смыслову несколько иначе, чем к Ботвиннику. Не то чтобы с меньшим почтением, но просто он был более свой. За глаза его ласково называли Васей, и как бы молчаливо подразумевалось, что в отличие от всяких еврейских дарований он был нашим, русским гением — Васей Смысловым. Вслух, разумеется, никогда не упоминалось, что по матери он был еврей, хотя внешне он был похож на еврея, да и называть этого интеллигента и барина просто Васей можно было с большой натяжкой.

Кстати, и высшие круги, с которыми встречались Смысловы, были иными, чем те, что симпатизировали Ботвиннику. Ботвинника, как мы помним, любили ученые — Капица, Ландау, Иоффе. Смыслову протежировал Суслов, и говорили, что они были даже близки домами. Впрочем, многие это объясняли не талантом Смыслова, а выдающимися кулинарными способностями его Надюши. Она устраивала великолепные обеды. На них-то и приглашали Суслова.

Благодаря своим связям Смыслов часто попадал на международные встречи, минуя многочисленные изнурительные отборочные турниры. Это, конечно, не могло не вызывать к нему антипатии молодых шахматистов.

В последние годы Смыслов стал глубоко религиозным человеком. Судя по его высказываниям, он совершенно искренне верит в существование сатаны и сатанизма. А одного из самых известных шахматистов называет "главным дьяволом советских шахмат". Он увлекается астрологией и верит в свою особую миссию. На мой взгляд, эта обретенная им за последние годы вера немало помогала ему за шахматной доской. Человек, несущий в душе религиозные идеалы, с богом в душе, всегда обретает дополнительные силы. Это, наверное, произошло и со Смысловым, когда он одержал в последние годы ряд блестящих побед. Но, с другой стороны, даже вера не могла изменить его характера — мягкого, чудаковатого и немного не от мира сего интеллигента. Я уже не говорю о его таланте, вобравшем в себя, по-видимому, и еврейский и русский гений, и потому такой самобытный.

Ну и в заключение одна деталь, если хотите, еще один мазок, характеризующий облик Смыслова. Надо было случиться так, что международный гроссмейстер Лев Альбурт, будучи в Германии, бежал на Запад из команды, капитаном которой был Василий Васильевич Смыслов. И когда стали разбираться, как это произошло, то решили пригласить и его. Беседу с ним вели в духе, в котором обычно ведутся такие беседы. "Да, как же, Василий Васильевич, это могло случиться, почти на ваших глазах и вы это допустили!" На что Смыслов ответил: "Видите ли, ведь он человек другого поколения, и к тому же этот Альбурт вообще демоническая личность..."

ТАЛЬ

Михаил Таль — кудесник шахматных комбинаций, создатель творческого направления, человек, совершивший революцию в шахматах — явление совершенно уникальное. Я даже не знаю, с кем его сравнить, чтобы составить о нем более или менее верное представление. Начну с того, что я его знал лучше, чем кого бы то ни было из советских шахматистов, ибо долгие годы был его тренером. Мы часто проводили вместе время, много ездили, о многом говорили.

Таль — рижанин, и я помню еще время, когда он был этаким смуглым, невзрачным, зачуханным еврейским мальчиком, однако уже тогда с колоритным лицом. Крупные жгучие глаза, орлиный нос... От природы он был лишен двух пальцев на правой руке. В детстве у него был полиомиелит, и вообще фигурой он не выдался — щуплый, одно плечо ниже другого, да и к тому же на вид всегда болезненный.

Меня же он сразу покорил своей игрой: этот еврейский па-

рень, когда его еще никто не знал, взял первое место в полуфинале первенства СССР.

Было это в Риге в 1952 году и характерно, что первую партию он выиграл именно у меня, так что это я дал толчок его карьере. Я считал само собой разумеющимся, что у этого мальчишки я выиграю, играл шаляй-валяй, и очень скоро оказался в предматовом положении. Играл он блестяще, хотя был еще только кандидатом в мастера.

Потом произошла такая забавная история. Он выиграл матч на звание мастера у одного известного белорусского шахматиста. После этого партия была передана на присуждение звания мастера — в этих случаях полагалось рассматривать качество игры. Так вот, партию передали на рассмотрение тогдашнему председателю квалификационной комиссии мастеру Равинскому. У него было несколько кандидатов, в том числе и из Москвы. И он всем присвоил звание мастеров, кроме Таля. Про Таля Равинский сказал: "слишком еще сырой".

Через два года он стал чемпионом Советского Союза. Из всей шахматной элиты он был наиболее блестящим человеком, очень ярким, и, я бы сказал, в отличие от многих других — очень светским человеком. Обладал совершенно фантастической памятью и был способен реагировать на всякого рода вещи.

Я замечал, что он может писать статью и тут же бросать реплики, не имеющие к статье никакого отношения. Он был блестящий журналист и душой всякой компании, где бы ни появлялся.

Зарубежные газеты буквально дрались за него, настолько он нетривиально и, главное, остроумно давал интервью. При всем том — это был очень больной человек. Он страдал почечной болезнью, а позже вообще жил с одной почкой. Всю жизнь его сопровождали жуткие почечные колики. Чтобы облегчить боли, ему постоянно впрыскивали морфий, очень часто во время турниров. У него были такие боли, что другой бы выл, не в силах их переносить, а он умудрялся играть.

Во время турнира 1961 года с Ботвинником на звание чемпиона мира к нему каждый день приезжала Скорая помощь.

Все это, однако, не делало его ни менее веселым, ни менее остроумным, ни менее находчивым. Однажды при мне его спросил один журналист-любитель: "Скажите, пожалуйста, Михаил Нехемиевич, какой у вас стиль? Можно ли вас назвать чигоринцем?" В те дни это была очень модная тема: Чигорин, чигоринцы — об этом только и говорили. Но Таль ответил: "Нет, я не чигоринец, я морфинист".

Сказал он это не потому, что чуть ли не каждый день колол морфий, спасаясь от болей, а оттого что был действительно поклонником великого американского шахматиста Морфия.

Он был баловнем женщин, хотя красавцем его никак нельзя было назвать. Просто он был удивительно обаятелен.

Наиболее долгий и, может быть, самый страстный роман был у него с московской киноактрисой Ларисой Соболевской. Это была очень молодая, эффектная женщина и, кстати, шахматистка первого разряда.

Я даже вспоминаю, как однажды она пришла ко мне в клуб Общества "Труд" и говорит: "Вот у меня отложенная партия, и я хочу ее проанализировать и выиграть, потому что тогда я получу первый разряд". Я отвечаю: "Ну, пожалуйста, покажите мне вашу позицию". Позиция была проигрышная. "Ну как же вы можете, — говорю я, — выиграть, если у вас худшее положение?" На что она отвечает: "Значит, вы не в состоянии помочь в этой позиции? В таком случае я перехожу в Общество "Динамо". Тогда я на эту реплику не обратил внимания. Между тем это было спортивное общество МВД и КГБ, с которым Соболевская оказалась связанной.

Путалась она с очень многими и в конце концов опутала и Мишу. Она была старше Таля, но выглядела гораздо моложе, потому что очень следила за собой. Она любила выпить. Рассказывали, что, выпив, она исполняла на столе канкан. И все же то, что я прочел о ней в книге Джона Баррона "КГБ", поразило меня. Оказывается, она и была той самой связанной с КГБ Кронберг-Соболевской, которая по заданию "органов" вступила в интимную связь с французским послом в Москве Дженаном, после чего едва не разразился международный

скандал. Хорошо известна саркастическая фраза Де Голля, узнавшего об этой истории: "Итак, Дженан, женщины приносят наслаждение!" Не думаю, что Таль знал о каких-то темных связях своей любовницы с КГБ, хотя роман их продолжался довольно долго.

Вспоминаю такой эпизод. Мы с Мишей были включены в состав делегации, отправлявшейся на турнир на Майорку, в Испанию. Соболевская, приехавшая в аэропорт его проводить, привезла с собой целый список вещей, которые она просила ей привезти. Среди них, помню, было платье с блестками. В те дни роман их был в разгаре, и Таль старался исполнять каждое ее желание.

И вот в один прекрасный день, во время турнира, в дверь моего номера постучали и в номер протиснулось какое-то странное существо — я даже испугался и совершенно не понял, что это был Таль, облаченный в платье с блестками.

Себе он так ничего и не купил, хотя денег у него было полно. На нем был рваный пиджак. С трудом его уговорили купить костюм и туфли. Сам он в магазин не пошел, а достал из бумажника пачку денег и, не интересуясь, что и сколько стоит, сказал: вот вам адрес, пойдите купите то-то и то-то и принесите ко мне в отель.

Был он человеком, лишенным всякой практической жилки, и вообще его вполне можно было отнести к богеме. Он страшно любил компании, любил и умел выпить. После того как ему вырезали почку, врачи запретили ему пить строго-настрого, но он почему-то придумал, что ему нельзя пить только вино, а вот коньяк можно. И продолжал пить по-прежнему.

Он много ездил и много играл. Его главная квартира была в Риге. С Соболевской он довольно долго прожил в Москве. А однажды чуть не застрял на всю жизнь в Грузии. Ему там нашли невесту, и вообще грузины мечтали, чтобы Миша Таль остался у них навсегда. Но с женитьбой так ничего и не вышло, хотя невеста имела свой дом и даже какую-то живность — то ли корову, то ли козу.

Время от времени невеста звонила ему и говорила: "Послушай, Миша, ну когда же ты ко мне приедешь?" И всякий

раз следовал один и тот же ответ: "Понимаешь, я жутко занят, нет ни минуты времени!" Так он и уехал из Тбилиси, ни разу не встретив свою невесту.

Власти относились к Талю довольно прохладно. За исключением того времени, когда он был чемпионом мира. Тогда перед ним заигрывали, к тому же в чем-то он был совершенно незаменим. Если, например, хотели показать товар лицом иностранным журналистам. Никто из шахматистов так образно не говорил. Никто не блистал такими экспромтами, как Таль. Его ни при каких обстоятельствах нельзя было застать врасплох. Он никогда не попадал впросак.

В Тбилиси состоялся матч Спасский—Таль. Я был тренером Таля. Газета "Труд" поручила ему написать большую статью "Итоги первой половины матча".

Я пришел к нему с утра в номер, он был еще в халате, с этой красоткой Соболевской. Тогда еще она с ним не расставалась ни на день и, надо сказать, довольно нежно за ним ухаживала. Она причесывала его по утрам, кормила с ложечки, а Миша сидел, вперив свой демонический взгляд в шахматную доску.

"Миша, — говорю я, — пора заниматься. Уже одиннадцать часов". В это время звонок телефона. Соболевская поднимает трубку и шепчет: "Миша, какой ужас, это из "Труда"... Теперь он берет трубку, и я слышу на другом конце провода: "Михаил Нехемиевич, здравствуйте! Ну вот стенографистка у нас готова. Можем начинать?" — "Да, можем", — отвечает он, поудобнее усевшись в кресле, и начинает диктовать статью. Он совершенно точно строил фразы, расставляя необходимые смысловые акценты. В нужных местах делал выводы. Говорил, где нужны абзацы, когда ставить запятые, когда точки. Словом, говорил так, будто всю ночь готовился диктовать статью.

В отличие от Ботвинника Таль никогда не был аскетом. Он не раз был женат и вообще вел довольно бурную личную жизнь.

Первый брак у него был с одной эстрадной рижской актрисой, по имени Салли. У них был сын, тоже Миша. Она была в

высшей степени светской и очень красивой женщиной. Потом он с ней разошелся, сохранив хорошие отношения. Она эмигрировала, жила и выступала где-то в Германии, а сын захотел вернуться в Россию. Вернулся. И у Таля с ним и по сей день хорошие отношения.

Позже, когда Таль остепенился, он женился еще раз на одной из сотрудниц Рижского шахматного клуба, ничего собой не представляющей, но сильно к нему привязавшейся.

Последний раз я его видел в Швейцарии. Выглядел он кошмарно. У него стало совершенно демоническое лицо. На голове осталось всего несколько волос. Он сильно сдал. Жаловался на высокое давление. А при высоком давлении вообще надо поставить крест на шахматах. К тому же три года назад у него умерла мать, которую он очень любил. Словом, это был уже совсем не тот Таль, которого я знал в прошлом.

В заключение я хотел бы подчеркнуть, если и есть в шахматах Паганини — по характеру, по внешности, по дарованию, — то это только Таль. Если продолжить эту параллель между шахматами и музыкой, то можно сказать, что Ботвинник — это Бах, а Смыслов — это Шопен. Кстати, построил эту параллель сам Таль. Но поскольку он был человеком очень скромным, то отнюдь не считал, что он Паганини. Один раз я его спросил: "Ну а кто вы, Миша?" — "Я?", — задумался он. "Я — Гершвин."

Окончание в № 78.

Георгий АДАМОВИЧ

ОДИНОЧЕСТВО И СВОБОДА

ДОСТОЕВСКИЙ И РУЛЕТКА

Страсть к игре владела величайшими русскими писателями. Играл Пушкин, играл Лермонтов, играл, проигрывался и в отчаянии придумывал всевозможные "чудодейственные" системы молодой офицер Лев Толстой... Некрасов ночи напролет проводил за картами. Однако в сравнении с Достоевским они все как будто только баловались: узнать — до глубины "бездну азарта", со всеми ее падениями и восторгами, сомнениями и надеждами, дано было только Достоевскому. Если страсть к игре — болезнь, Достоевский, несомненно, был тяжелобольным человеком. Эта страсть доставила ему такие муки, рядом с которыми даже четыре года, проведенные на каторге, не казались ему страшными.

Достоевский бедствовал всю жизнь. Нет почти ни одного письма его, где бы не говорилось о деньгах: у того-то он собирается просить взаймы, тому-то должен отдать... Игра еще больше запутала его дела. Но перед самим собой у него всегда

Copyright 1984 by Silver Age Publishers. Публикуемые статьи войдут в двухтомник: Г.В.Адамович. Избранная проза.

было оправдание, что если бы деньги не были ему необходимы "до зарезу", он бы не играл. Достоевский играл, чтобы выиграть: несчастнейший тип игроков, обреченных самой судьбой на неудачу. У него была навязчивая идея: он верил, что ему удастся выиграть "капитал", расплатиться с кредиторами, прожить хотя бы несколько лет спокойно, обеспечить семью, а главное — иметь возможность писать медленно, спокойно ("как Тургенев, как Толстой" — замечает он в одном письме), а не на срок, под угрозой тюрьмы или описи имущества. Разумеется, в процессе игры он обо всем этом забывал. Ему не раз случалось видеть перед собой "груду золота". Казалось бы, мечта исполнилась, если и не целиком, то хоть отчасти... Он должен был бы прекратить игру, отложить лишние деньги. Но Достоевский не был коммерсантом, он был игроком, — и притом игроком безумным. Он принадлежал к тем людям, которые готовы сказать: "Величайшее из всех доступных наслаждений — выигрывать. Второе наслаждение — проигрывать..." Подходил он к столу с искренним желанием играть рассчетливо. Сначала это ему удавалось. Через несколько минут он был во власти "демона": не все ли равно, не все ли равно? — повторял он сам себе. Стараясь не думать о последствиях проигрыша, он ставил деньги, как попало, куда попало, и уходил из игорного дома без гроша.

Достоевский играл в рулетку. К картам он был равнодушен. Один из знаменитых европейских "прожигателей жизни", промотавший на своем веку несколько состояний, заметил как-то, что существует только одна настоящая игра, достойная этого названия: рулетка... Кто играл в рулетку, того картами уж не увлечь. Недаром молва приписывает ее изобретение гениальному Паскалю: расположение номеров на зеленом сукне дает игроку почти неисчислимое количество возможных комбинаций... Помимо того, рулетка самым механизмом своим действует на человека, склонного к азарту.

"Rien ne va plus!" — восклицает крупье... Деньги лежат на столе, ничего уже изменить нельзя, а шарик все вертится, вертится, скачет, прыгает, как будто испытывая нервы, маленьким бичом костяной шарик, бездушный и коварный... Сколько секунд это длится? Игрок не знает. Иногда ему

кажется: этому не будет конца, шарик не остановится никогда. "Не все ли равно, не все ли равно? — бормочет Достоевский. — Какое все это может иметь значение? Какие все это пустяки! Ну, проиграю, выиграю, — не все ли равно?" Но он следит за шариком, не отрываясь, руки его трясутся. Крупье наконец выкликает номер. Груда золота — или ничего. И снова "Faites, vos jeux!" — снова то же самое, до последней монеты, затерявшейся в жилетном кармане.

В "Игроке" Достоевский рассказал об этом. Но, правду сказать, он приукрасил картину: ему самому никогда не везло так, как везет его герою, никогда он банков не срывал. Вообще, при всем блеске этой повести, она слаба и поверхностна в сравнении с тем, что Достоевский лично, сам за рулеткой пережил. Письма его неизмеримо трагичнее и красноречивее. В "Игроке" отлично описана атмосфера игорного дома, но и только... Эта повесть — лучшее из всего того, что об игре написано, но она все-таки не исчерпывает тему, и уж кто-кто, а Достоевский мог бы об игре рассказать иначе, глубже и сильнее. Правда, "Игрок" написан в 1866 году. Самые ужасные свои рулеточные драмы Достоевскому пришлось пережить позднее.

Разумеется, у Достоевского была "система", и не одна, а несколько. Системы эти не были безошибочны, беспроигрышны, но они могли бы дать ему в борьбе со случаем оружие, довольно верное. Если бы только он мог собой владеть и намеченной системы держаться! Но в том-то и дело, что на это Достоевский не был способен. Достаточно взглянуть на его портрет, чтобы понять, что Достоевский не мог не проигрывать. Человек с таким чистым, "страдальческим" лбом, с такими глубокими, как будто померкшими глазами, способен был создать "Братьев Карамазовых", но справиться со случаем, экономить, рассчитывать, ждать счастья был не в силах. Достоевский — прирожденная "жертва" в игре.

Впервые подойдя к рулетке в 1863 году, он пишет (невестке своей В.Д.Констант) : "Пожалуйста, не думайте, что я форшу, говоря, что знаю секрет, как не проиграть, а выиграть. Секрет я действительно знаю; он ужасно глуп и прост и

состоит в том, чтобы придерживаться поминутно, несмотря ни на какие фазисы, игры и не горячиться. Вот и все, и проиграть при этом просто невозможно, а выиграть наверно..."

В этот день Достоевский выиграл 5 тысяч франков — сумма для него очень крупная. Но в следующем письме к той же В.Д.Констант, он сообщает: "Я проигрался на рулетке весь, совершенно, до тла. У меня в кармане теперь только 250 франков..."

Это было в Висбадене. Несколькими днями позднее он пишет брату Михаилу Михайловичу: "Я в Висбадене создал систему игры, употребил ее в дело и выиграл... Наутро испытал эту систему опять, со всею строгостью и без труда и скоро опять выиграл 3 тысячи франков. Скажи после этого, как было не увлечься, как было не поверить, что, следуй я строго моей системе, и счастье у меня в руках? А мне надо деньги, для меня, для тебя, для жены, для написания романа".

Эти письма — как бы прелюдия к позднейшим, многолетним несчастьям Достоевского за рулеткой. Достоевский играл всегда за границей: в России рулетки не было. В те годы немецкие курорты (Баден-Баден в особенности) привлекали к себе цвет европейского общества, игроков в том числе. Куда бы Достоевский ни направлялся — в Париж или в Италию, — путь его лежал через Германию. Как было не остановиться в одном из этих "прелестнейших уголков", не попытать счастья? Достоевский останавливался "на день, два, самое большее", и оставался иногда месяцами, пока его не выручали друзья.

Так было, например, в Висбадене летом 1865 года. Он встретился там с А.П.Сусловой, своей давней любовницей, своим "другом вечным", как назвал он ее в прощальном письме к ней. Суслова приехала из Парижа. Встреча, сулившая Достоевскому радость, превратилась в пытку: Достоевский с первого дня приезда стал играть и проигрывать. Ему пришлось просить взаймы у Тургенева, который находился в это время недалеко, в Баден-Бадене. Тургенева Достоевский ненавидел, обратиться к нему было для него очень тяжело, и

долг этот впоследствии сильно мучил его. Достоевский просил сто талеров (около 400 золотых франков), Тургенев прислал пятьдесят.

"Благодарю Вас, добрейший Иван Сергеевич, — пишет Достоевский, — 50 талеров, хоть и не помогли мне радикально, но все-таки очень помогли".

На деле присланные 50 талеров помогли Достоевскому лишний вечер провести в казино. Он их проиграл, конечно.

Суслова заложила какие-то свои вещи и поехала обратно в Париж в надежде занять небольшую сумму у знакомых и выручить Достоевского. Ей самой денег еле хватило на билет третьего класса. Достоевский остался в Висбадене. Он пишет Герцену в Женеву, умоляет спасти его, Герцен не отвечает. Он пишет Каткову в Москву, пишет друзьям... Но ответов нет.

А пока: "Мне объявили в отеле, что мне не приказано давать ни обеда, ни чаю, ни кофею. Я пошел объясняться, и толстый хозяин объявил мне, что я не "заслужил" обеда и что он будет мне присылать только чай... Да и чай подают прескверный, платье и сапоги не чистят, на мой зов нейдут и все слуги обходятся со мной с самым невыразимым презрением... Сижу и все читаю, чтобы движением не возбудить аппетита". (А.П.Сусловой 10 августа 1865 г.).

"Дела мои мерзки do nec plus ultra; далее нельзя идти. ...Продолжаю не обедать, живу чаем... Скверно, что меня притесняют и отказывают в свечке... Я каждый день в три часа ухожу из отеля и прихожу в шесть часов, чтоб не подать виду, что я совсем не обедаю. Какая хлестаковщина" (Ей же, 12 августа).

Но все это — ничто в сравнении с тем, что было в 1867 году и позже, во время четырехлетнего, вынужденного скитательства Достоевского по Европе.

В 1867 году Достоевский вторично женился (первый его брак с И.Д.Исаковой был несчастлив). Анне Григорьевне Сниткиной едва исполнилось 20 лет, когда она вышла замуж за пожилого вдовца, уже начавшего входить в славу писателя. Через два месяца после свадьбы Достоевский с женой уехали

за границу и вернулись в Россию лишь в 1871 году. Поездка не была обычным "свадебным путешествием": Достоевский спасался от кредиторов. В это время доходы его могли бы быть уже довольно велики. Но Достоевский, ничего не понимавший в делах, заключил крайне невыгодный контракт с одним из петербургских издателей. Помимо того, — и это самое главное, — он после смерти своего брата добровольно принял на себя все долги покойного, рассчитывая, что кредиторы оценят его великодушие и не будут ему докучать. "Отдам, когда будет возможность", — думал Достоевский. У кредиторов в руках были векселя Достоевского на пятнадцать тысяч рублей. Ждать "возможности" они не пожелали. Угрозы их делались все реальнее. Достоевский бежал за границу.

Все его надежды были на рулетку. В Дрездене он оставил Анну Григорьевну и уехал в Гамбург, ближайший город, где был игорный дом.

В первом же письме он пишет жене: "Я понял, что такого цельного, ясного, тихого, кроткого, прекрасного, невинного и в меня верующего ангела, как ты, — я не стою".

Анна Григорьевна действительно была для Достоевского ангелом. Невозможно передать, что пришлось ей вынести в первые годы замужества из-за несчастного и неодолимого влечения Достоевского к игре. Проиграл, выиграл, проиграл, выиграл в каждом письме сообщает ей Достоевский. В конце концов всегда "проиграл", всегда просьбы помочь, выручить, спасти... И Анна Григорьевна, почти еще совсем ребенок, не знающая жизни, не видевшая страстей, помогала, спасала, выручала и даже находила в себе силы утешать мужа.

Из Гамбурга Достоевский пишет ей ежедневно:

"День был скверный. Проигрался! Что делать: не с моими нервами, ангел мой, играть..."

"День пакостный... Главное все это бестолково, глухо и низко. А все-таки оторваться от моей идеи не могу: т.е. бросить все и приехать к тебе. Веришь ли..." (дальше идет рассказ, как он проигрался до последней копейки, заложил часы и отыгрался).

Наконец, проиграно все, даже часы. "Ради Бога, вышли денег! Торопись Аня".

В следующем письме: "Аня, милая, друг мой, жена моя, прости меня, не называй меня подлецом. Я сделал преступление, я все проиграл, что ты мне прислала, все до последнего крейцера, вчера же получил и вчера проиграл. ...Теперь я спокоен за мою будущность. Теперь работа и труд, работа и труд!" Но тут же новые просьбы о присылке денег.

Анна Григорьевна ведет дневник. Она посылает мужу деньги и тут же деловито, спокойно отмечает, что "Федя, вероятно, опять проиграл все".

Из Дрездена Достоевские отправились в Женеву. Анна Григорьевна была беременна, врачи послали ее в Швейцарию. По дороге в Женеву горный Баден-Баден, Достоевский "вздумал туда завернуть", как сообщает он впоследствии Майкову. О том, что было в Баден-Бадене нам в мельчайших подробностях известно по дневнику Анны Григорьевны. Достоевский играл в течение трех месяцев с утра до вечера. Нередко он выигрывал. Но больше двух-трех часов он не мог пробыть без игры. Он возвращался в казино и оставлял там все деньги. Анна Григорьевна заложила серьги, два платья, какую-то особенно ей дорогую "мантилью", которую она горько оплакивала. Достоевский продал пальто. Но все это было бесцельно: деньги исчезли мгновенно. Анна Григорьевна дошла до мыслей о самоубийстве. Но приходил из казино Достоевский, падал на колени, рыдал, просил прощения, и она его утешала, как мать. Достоевский иногда бывал в таком волнении и раздражении после проигрыша, что бил себя кулаками по голове.

Много лет спустя Анна Григорьевна говорила, что ни за что в мире не согласилась бы вновь посетить Баден-Баден и даже не может слышать имени этого города. Так тяжелы были ее воспоминания о лете 1867 года.

Наконец Достоевские в Женеве. Около Женевы есть курорт с рулеткой — Саксон ле Бен. Начинается то же самое.

"Аня, милая, я хуже чем скот! Вчера был в чистом выигрыше 1300 фр. Сегодня ни копейки! Все! Все проиграл!"

В другом письме, оттуда же: "Ах, голубчик, не надо меня пускать к рулетке. Как только прикоснулся, руки-ноги дрожат и холодеют..."

Дальше: "Аня, милая, бесценная моя, я все проиграл, все, все! О ангел мой, теперь я не буду обкрадывать тебя, как скверный, гнусный вор... Никогда, никогда я не буду больше играть!"

Через несколько месяцев оттуда же: "Милый мой ангел Нютя, я все проиграл, как приехал, в полчаса все и проиграл... Прости, Аня, я тебе жизнь отравил!.."

Эти ужасные и все же прекрасные письма, полные отчаяния и нежности, незабываемые для всякого, кто их читал. Весь Достоевский в них, со всей своей огромной, измученной и любящей душой. Анна Григорьевна за долгие свои горести была достойно вознаграждена ими.

В последний раз Достоевский играл в 1871 году, перед возвращением в Россию, в Висбадене. Анна Григорьевна осталась в Дрездене. Он ей из Висбадена написал три письма, — таких же, как прежде.

"Аня, Аня, я не подлец, а только страстный игрок... Аня я лежу у ног твоих и целую их" и знаю, что ты имеешь право презирать меня". Он торжественно клянется бросить мысль об игре, о выигрыше, о рулетке, оставить "эту проклятую фантазию". Клятву свою Достоевский сдержал.

Из России он еще несколько раз ездил за границу, но "демон азарта" не искушал его больше: в 1872 году рулетка была запрещена по всей Германии. Началась эпоха Монте Карло, но из Петербурга до Монте Карло далеко, "завернуть" туда не так просто, как в Баден-Баден. В Монте Карло Достоевский не был.

Возможно, что он и действительно чувствовал отвращение к игре в последние годы жизни — кто знает? Игра стоила ему слишком много сил. Нельзя сомневаться только в том, что эта страшная "низкая" его страсть многому научила его и что, когда Достоевский стоял у зеленого стола или без толку бродил по улицам после проигрыша, он в бреду своем вместе с потерянными талерами, думал и о величье и ничтожестве человеческой судьбы, о смерти, о жизни, о любви.

ВЕЧЕР У АННЕНСКОГО

В царское Село мы приехали с одним из поздних поездов. Падал и таял снег, все было черное и белое. Как всегда, в первую минуту удивила тишина и показался особенно чистым сырой, сладковатый воздух. Извозчик не торопился. Город уже наполовину спал и таинственнее, чем днем, была близость дворца: недоброе, неблагополучное что-то происходило в нем — или еще только готовилось — и город не обманывался, оберегая, пока было можно, свои предчувствия от остальной беспечной России. Царскоселы все были чуть-чуть посвященные и как будто связаны круговой порукой.

Кабинет Анненского находился рядом с передней. Ни один голос не долетал до нас, пока мы снимали пальто, приглаживали волосы, медлили войти. Казалось, Анненский у себя один. Гости, которых он ждал в этот вечер, и Гумилев, который должен был поэту нас представить, по-видимому, еще не пришли.

Дверь открылась. Все уже были в сборе. Но молчание продолжалось. Гумилев оглянулся и встал нам навстречу. Анненский с какой-то привычной, механической и опустошенной любезностью, приветливо и небрежно, явно отсутствуя и высокомерно позволяя себе роскошь не считаться с появлением новых людей, — или понимая, что именно этим он сразу выдаст им "диплом равенства", — Анненский протянул нам руку

Он уже не был молод. Что запоминается в человеке? Чаще всего глаза и голос. Мне запомнились гладкие тускло сиявшие в свете низкой лампы волосы. Анненский стоял в глубине комнаты, за столом, наклонив голову. Было жарко натоплено, пахло лилиями и пылью.

Как я потом узнал, молчание было вызвано тем, что Анненский только что прочел свои новые стихи.

"День был ранний и молочно-парный.
Скоро в путь..."

Гости считали, что надо что-то сказать, и не находили нужных слов. Кроме того, каждый сознавал, что лучше хотя бы для виду задуматься на несколько минут и замечания свои

сделать не сразу: им больше будет весу. С дивана в полутьме, уже кто-то поднимался, уже повисал в воздухе какой-то витиеватый комплимент, уже благосклонно щурился поэт, давая понять, что ценит, и удивлен, и обезоружен глубиной анализа, — как вдруг Гумилев нетерпеливо перебил:

— Иннокентий Федорович, к кому обращены ваши стихи?

Анненский, все еще отсутствуя, улыбнулся.

— Вы задаете вопрос, на который сами же хотите ответить... Мы вас слушаем.

Гумилев сказал:

— Вы правы. У меня есть своя теория на этот счет. Я спросил вас, кому вы пишете стихи, не зная, думали ли вы об этом... Но мне кажется, вы их пишете самому себе. А еще можно писать стихи другим людям или Богу. Как письма.

Анненский внимательно посмотрел на него. Он уже был с нами.

— Я никогда об этом не думал.

— Это очень важное различие... Начинается со стиля, а дальше уходит в какие угодно глубины и высоты. Если себе, то в сущности ставишь только условные знаки, иероглифы: сам все разберу и пойму, знаете, будто в записной книжке. Пожалуй, и к Богу то же самое. Не совсем, впрочем. Но если вы обращаетесь к людям, вам хочется, чтобы вас поняли и тогда многим приходится жертвовать, многим из того, что лично дорого.

— А вы, Николай Степанович, к кому обращаетесь вы в своих стихах?

— К людям, конечно, — быстро ответил Гумилев.

Анненский помолчал.

— Но можно писать стихи и к Богу... по вашей терминологии... с почтительной просьбой вернуть их обратно, они всегда возвращаются, и они волшебнее тогда, чем другие... Как полагаете вы, Анна Андреевна? — вдруг с живостью обернулся он к женщине, сидевшей вдалеке в глубоком кресле и медленно перелистывавшей какой-то старинный альбом.

Та вздрогнула, будто испугавшись чего-то. Насмешливая и грустная улыбка была на лице ее. Женщина стала еще бледней, чем прежде, беспомощно подняла брови, поправила широкий шелковый платок, упавший с плеч.

— Не знаю.

Анненский покачал головой.

— Да, да... "есть мудрость в молчании", как говорят. Но лучше ей быть в слове. И она будет.

Разговор оборвался.

— Что же, попросим еще кого-нибудь прочесть нам стихи, — с прежней равнодушной любезностью проговорил поэт.

БЛОК И ГУМИЛЕВ

Имена Блока и Гумилева соединены смертью, почти одновременной. Их литературное сопоставление сначала казалось искусственным. Но прошло двенадцать лет со дня гибели обоих поэтов, а по-прежнему их вспоминают вместе и одного с другим сравнивают... Очевидно, параллель внутренне оправдана, иначе она не могла бы удержаться, особенно в представлении людей, которые ни Блока, ни Гумилева лично не знали, а судят о них лишь по книгам.

Еще совсем недавно в двух или трех эмигрантских газетах промелькнули статьи на ту же тему: Блок и Гумилев. Были и отвлеченные оценки. Были и мемуары. Высказывалась мысль, что о "соперничестве" не могло быть при жизни поэтов и речи, что легенда о нем выдумана позднее, что Гумилев, в частности, "преклонялся", "уступал место", — и лишь по слабости характера, поддаваясь настояниям своего мелко тщеславного и темного окружения, вел иногда против Блока и блоковского влияния глухую борьбу.

Позволю себе привести кое-какие соображения по этому делу. Не то, чтобы оно имело большое значение: нет, по-моему, обо всей этой литературной эпохе с ее спорами, распрями и обычной суетой, у нас и так слишком усердно и словоохотливо рассказывают, будто каждый третьестепенный фактик представляет общий интерес... Лучше и полезнее за-

няться настоящим, чем прошлым, и, кстати, подождать, пока прошлое "отстоится", пока уляжется его пыль, пока выяснится, о чем вспоминать стоит, а не что любопытно только для десяти или пятнадцати человек. Каждому всегда кажется важным то, в чем он участвовал, — со стороны, однако, впечатление бывает совсем иное... Но уже если вопрос поднят, надо к нему вернуться... "В интересах истины", — как принято выражаться.

Гумилев, конечно, не завидовал Блоку, — не завидовал, в низменном и позорном смысле слова. Он был слишком прямодушен, слишком порывист и благороден для этого. Но всякий, кто близко знал и часто наблюдал его, подтвердит, что он с Блоком сознательно, настойчиво и постоянно соперничал. Да и сам Гумилев этого не скрывал. Блоку он "отдавал должное", не более. Когда началось движение против символизма, — акмеизм, футуризм и пр., — он всячески отстаивал блоковский престиж от тех, кто на него легкомысленно посягал. Как-то, после мейерхольдовской постановки "Балаганчика" в Тенишевском зале, когда в частном кружке Кузмин высказался с демонстративным презрением не только об актерах, но и о пьесе ("просто чепуха!"), — Гумилев взволнованно принялся доказывать, что пьеса глубокомысленна и прекрасна. Однако Блока он не любил. Для Гумилева бранным словом было: "розановщина". Нередко, над блоковскими стихами он и говорил:

— Ну, это розановщина!

Его отталкивал чрезмерный лиризм блоковской поэзии, ее слишком откровенная, обнаженная музыкальность, — он сторонился блоковского творчества, как сторонятся иногда женщины, которая до добра не доведет. Он именно опасался Блока, — и чем тот становился неотразимее и обворожительнее, тем больше Гумилев хмурился.

Будучи по природе своей "ловцом человеков", Гумилев всячески стремился расширить и упрочить свое влияние за счет блоковского. Повторяю, — не было зависти. Но было желание оградить русскую поэзию от игры с "мирами иными", от болезненно напряженной впечатлительности, была попытка

вернуть ей мужество, простоту и веселье. Каждого молодого поэта Гумилев настойчиво и медленно "обрабатывал", все дальше уводя его от Блока. Он с подчеркнутым восторгом отзывался о "Ночных часах" или даже о "Двенадцати", но тут же с удовольствием слушал остроумные возражения, спорил и поддакивал, толкал дальше, опять отрицал, — пока ореол Блока не начинал меркнуть... Он попутно внушал собеседнику отвращение к типу анемичного юноши с длинными кудрями и мечтательным взором, с улыбкой доказывал, что из двух крайностей лучше уж быть кутилой, забиякой и спортсменом. Правда, все во имя поэзии, но поэзии вполне "земной". Блок, по его мнению, витал в облаках, а земля богаче и прекраснее всех облаков и небес вместе взятых. Я огрубляю, конечно, но насколько помнится, передаю правильно сущность гумилевских взглядов и настроений...

Он был задорным, очень жизнерадостным человеком, сохранившим в себе что-то детское: его все занимало, все забавляло, и во время борьбы за какое-нибудь председательское кресло в союзе поэтов, он готов был каждый вечер устраивать у себя военные заседания и совещания, будто и в самом деле судьба всей русской литературы поставлена на карту и зависит от того, будет он, Гумилев, председателем или не будет. Надо было видеть его в такие дни.

Разумеется, он баловался, но вкладывал в баловство всю свою страстность — и никогда не упускал из виду своей истинной заветной цели: борьбы с романтизмом во всех его проявлениях и с его высшим русским воплощением — Блоком. Оттого-то пустая и нелепая затея его и увлекала, оттого он и придавал ей значение, что Блок со своих облаков до нее не мог и не желал спуститься. Оправдание Гумилева в том, что он тоже всегда "витал", — в частности, кресло председателя тоже было ведь своеобразным "облаком", — и, считая себя строго практическим человеком, был неизменно в полной власти своих иллюзий и химер.

Ему удалось все-таки отстоять от блоковской ворожбы свое гумилевское представление о поэзии и поэте. Влечение последних, новейших литературных поколений к нему это до-

казывает. Если бы он об этих нежданных симпатиях знал, они были бы лучшей наградой ему за короткую и не очень счастливую жизнь.

Да, Блок был для него первым из современных русских поэтов. Но напомню, что когда-то Андре Жида спросили, кто величайший поэт Франции. Он ответил:

— Victor Hugo, helas!

Гумилев без этого "увы" едва ли обошелся бы.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

С удивлением, с недоумением читаю все то, что пишется в последние месяцы о Сергее Есенине.

В воспоминаниях и в рассуждениях о нем чувствуется уверенность, что это был большой поэт, значительный человек. Об этом даже нет споров. Это аксиома. Между тем это — выдумка и ложь.

Никто не приведет в оправдание этой лжи пословицу "de mortuis...". О мертвых не следует говорить чего-либо их порочащего. Но высказывать мнения о творчестве покойника, конечно, можно, и тут нечего считаться со смертью. Есенин не виноват, что он был поэтическим неудачником. Утверждая это, памяти его не оскорбляешь. Можно жалеть о нем, можно любить его и все-таки заставить себя сказать правду. Если в Есенине была хотя частица истинного творческого сознания, он сам согласился бы, что "общее дело" поэзии, общие цели ее бесконечно важнее отдельных огорчений и обид, — и что в суждении о поэзии надо быть откровенным.

Конечно, в поэзии ничего нельзя доказать. Нравится или не нравится, волнует или не волнует, — вот якобы высшее, последнее мерило. Это настойчиво утверждает, например, М.Осоргин. Ему очень нравится поэзия Есенина, и он делает отсюда соответствующие выводы о значительности поэта. Другой критик, не менее страстный поклонник Есенина, пишет: "Как не расслышать за этими слабыми стихами (о "Пугачеве") и нелепыми образами самой страшной, подлинной, пожирающей и безысходной тоски!" Это обмолвка крайне показательная. Обратите внимание: слабые стихи и подлинная тоска.

О, в том, что Есенин подлинно тосковал и был несчастен, я не сомневаюсь. Достаточно было мельком взглянуть на него в Берлине в 1923 году, перед его возвращением в Россию. Он был жалок, измучен, он был насмерть подстрелен. Ему, повидимому, очень тяжело жилось тогда. Но что же делать! Из этой тоски не вышло поэзии, потому что одного чувства в искусстве все-таки недостаточно.

В наше время нам часто преподносят стихи, в которых есть все — расчет, воля, ум, но чувства нет. Это плохо, но и другая крайность не лучше. Когда-то Чуковский воскликнул: "не нужны ни ямбы, ни хореи, нужна душа". К сожалению, при всем теоретическом сочувствии этому возгласу, ему невозможно сочувствовать практически. Душа без ямбов, — то есть вне одухотворяемой ею материи — не ощутима. Именно служа душе, одной только ей, поэт работает над ямбами, — не ради них же самих он над ними бьется!

Но есть дух и есть душонка. Даже обладая духом, художник иногда передает в своем искусстве только эту дряблую душонку, — если он человечески безволен и, в особенности, несдержан. Первое, самое поверхностное, ближе всех лежащее чувство уходит в свободно льющиеся стихи... Публика рукоплещет: какой талант! Какая легкость вдохновения! Как верно отражает он нашу эпоху! Вот Сергей Есенин.

Говорят о певучести его стихов. Да, конечно, они певучи. Говорят об искренности его. Да, конечно, Есенин искренен. На "периферии" искусства он несомненно вправе занять место. Но на периферии искусства не стоит задерживаться: скучно, плоско, мелко; упрощенность всего, ersatz'ы жизненных трагедий, творческих путей, взлетов и падений; кукольный театр; все — приноровленное для широкого потребления и демократических вкусов, в конце концов, не поэзия, а по-державински "сладкий лимонад".

Один из критиков сравнил Есенина с Надсоном и тотчас же поправился: "Конечно, Есенин — настоящий поэт, а Надсон

всего-навсего"... и т.д. Напрасно поправлялся. Особой пропасти между Надсоном и Есениным нет, есть даже близость. Надсон ведь тоже тосковал — искренно и "безысходно". Стихи Надсона тоже певучи. Легко представить себе Есенина, сероглазого рязанского паренька, попадающего в восьмидесятых годах в Петербург и сразу увлекающегося "гражданскими идеалами"... Вместо этого он попал к мечтателю Блоку и озорнику Маяковскому. Скрещением двух линий почти целиком и исчерпывается Есенин, причем обе линии в нем ослаблены. Блоковское влияние признают в Есенине все, влияние Маяковского как будто не замечается. Может быть, это происходит оттого, что маяковщиной заражено огромное количество русских молодых стихотворцев, все орущее, дерзящее и ломающееся последнее поколение. Неверно исторически и объективно видеть в рифмованной ругани и выкриках Есенина нечто его личное. Это в нем кричит Маяковский.

С Блоком у Есенина счеты сложнее. Блок передал ему мелодию стиха, но не мог передать ему своей "музыки". Тот же критик утверждает: "По музыкальности Есенин стоит рядом с Блоком и имеет то преимущество, что его музыка не отягчена и осложнена слишком внемирной музыкой сфер". Это спорно, но что значит здесь слово "преимущество"? В чем, собственно, "преимущество" Есенина? В том ли, что он бесконечно мельче Блока?

Он занесен, сей меч железный
Над нашей головой... И мы
Летим, летим над грозной бездной
Среди сгущающейся тьмы...

Это стихи Блока, — и далеко не лучшие его стихи. Символизм, скажете вы. Туман, условность. Пусть. Но в эти строчки врывается вся мировая история, они то суживаются, то беспредельно расширяются, смотря по тому, что слышишь в них. Оказывается, есенинскую певучесть следует им предпочесть.

Говорят: "погиб Блок, так же погиб Есенин". Простите, господа: Блок погиб иначе. Его существование было суровым, трудным, полумонашеским в последние года, он задохнулся, он не выдержал каких-то внутренних, таинственных,

не всем слышных ураганов, — в р у б л е в с к и м и — хотелось бы их назвать. Есенин же просто сбился с пути, измаялся, избаловался. Есенина жаль, но от жалости далеко до преклонения. Есенина сгубила жизнь, а не поэзия (или на более общем языке: идея). Жизнь губит тысячами, сотнями тысяч, поэзия же — редких одиночек и Богом отмеченных.

Я намеренно воздерживаюсь сегодня от формального разбора есенинского творчества. Мне хочется обратить внимание на его внутреннюю сущность. Кому кажется, что все в мире и общей жизни людей обстоит благополучно, тот пусть себе услаждается какими угодно стихами. Но кто склонен думать, что все летит по наклонной плоскости или, говоря выразительнее, к черту, кто считает, что в поэзии заключается возможность очищения, оздоровления, осветления мира, — для того, право, в "прелестных книгах Есенина" прелести мало.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ И ЕГО ВОСПОМИНАНИЯ

Андрей Белый был исключительно даровит. Никто никогда этого, кажется, не оспаривал. Валерий Брюсов, ценитель сдержанный, суховатый и умный, отнюдь не склонный к торопливой восторженности, записал в 1902 году в дневнике, побеседовав с юным студентом: "Был у меня Бугаев, читал свои стихи, говорил о химии. Это едва ли не интереснейший человек в России".

Правда, года три спустя он сказал ему, — как сам Андрей Белый в "Начале века" рассказывает: "Хорошо умереть молодым! Вы, Борис Николаевич, умерли бы пока молоды; еще испишитесь, переживете себя! А теперь — как раз вовремя".

Но это была шутка, — во всяком случае, по форме. Если не совсем случайно Брюсов пошутил именно так, то неясно все-таки, предвидел ли он в самом деле, что Белый "растратит свои дары". Совсем недавно, после смерти Белого, многие, встречавшиеся с ним, повторили — в некрологах, письмах или

частных беседах — почти в точности слова Брюсова. "Едва ли не интереснейший человек в России". Повторил это в Москве Борис Пастернак, узнавший Белого довольно поздно. Замечательно, однако, что если никто никогда не оспаривал этого, то никто никогда этого и не сказал, не добавив тотчас же одного короткого необходимого слова: слова "но". Нельзя написать, что Белый был необыкновенно талантлив или даже, — по распространенному мнению, — гениален, не спохватившись тут же и не принявшись объяснять себе или другим, почему все-таки мало надежд, что имя его в русской литературе прочно и надолго удержится. Объяснения спорны. В наше время все так стремительно уносится и изменяется, что спорно для пореволюционных поколений и самое утверждение исключительности Андрея Белого. Главное же, они, эти поколения, не совсем улавливают, почему современникам Белого так тягостно теперь говорить о нем, почему творческое и жизненное его крушение воспринимается ими болезненно, а его издевательство над всеми друзьями и былыми приятелями — с досадой и грустью.

Удивительный и странный был человек! Вот перед нами три тома его мемуаров: удивительная и странная книга, необыкновенная по меткости отдельных характеристик, по яркости и своеобразию бесчисленных картин, необыкновенная в некоторых главах по какой-то "растерзанности ненасытного сердца", пользуясь выражением самого Белого, — и вместе с тем книга нестерпимая, отталкивающая самоупоением, заносчивостью, болтливостью, двуличностью, готовностью от чего угодно отречься, постоянной мелкобесовской язвительной усмешечкой над всем и над всеми! Андрей Белый был одной из центральных, одной из "ведущих" фигур русского символизма. Читаешь его воспоминания и волей-неволей думаешь: что же, действительно все это было сплошной комедией, сплошным балаганом, с такими же интригами и жалкой закулисной грязью, как везде, но без всякого внутреннего обоснования или оправдания? Что же, действительно столичные, не в меру утончившиеся адвокаты, на мистико-эстетических сборищах кололи друг друга булавками, пили из золотой чаши кровь, а поэты и философы в стихах и в прозе намекали, что это-то и есть обряд "очищения нашего быта и приветствование новой зари", — и только? Короче, что же, ничего, кроме вздора и взаимного позорного обмана, не было? Нет, стихи Белого противоречат его поздним разоблачениям, самооплевываниям и раскаяниям. Противоречит им такое явление, как Блок, который был его ближайшим "соратником" и в то же время был едва ли не последним в русской литературе воплощением совестливости, по честности и требовательности к самому себе — прямым потомком Льва Толстого. Блок не обманывал наверно и наверно не соглашался быть обманутым: значит, не все было пустой, глупой игрой и в тех настроениях, с которыми он сроднился. Были адвокатские булавки, но было и другое. Что?

Трудно теперь, в тридцать восьмом году, когда "иных уж нет, а те далече", об этом вспоминать и рассказывать. Откроем "Весы" или пестрые, нарядные скорпионовские издания: хочется улыбнуться, перелистывая, и признать, что "не было ничего". Но правильна ли эта оценка? Была молодость, были мечтания, предчувствия, надежды, одиночество, "оранжевые закаты по вечерам".

Это, впрочем, было у всех, всегда. Закаты волновали и Вертера. Было смутное ощущение обреченности нашего, нам близкого мира, так внезапно и страшно оправдавшееся. Еще многое такое, что иначе, как словами "что-то", "как-то", "куда-то" теперь и не выразишь. Блок мучительно, в течение всей своей жизни, пытался пробиться сквозь идейные и словесные туманы к свету отчетливого смысла и действия, — и "сгорел" в этой борьбе. В Андрее Белом постоянно чувствовался душок добровольного предательства. Блоку глубоко чуждый, — и он потешался над своими порывами с той же страстью, как служил им.

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизни прожить не сумел!

Не смейтесь над мертвым поэтом.
Снесите ему венок...

Это — стихи Белого, одно из самых характерных для него, беспомощных, пронзительных и прекрасных стихотворений. Неужели надо верить только поздним запискам, ведшимся в состоянии ужасного раздражения и уныния, а таким строкам верить не надо? К трем томам воспоминаний Андрея Белого следовало бы поставить эпиграфом эти слова: "Не смейтесь над мертвым поэтом". Только они и способны немного смягчить впечатление, оставляемое этими книгами.

Позволю себе поделиться воспоминаниями. Впервые я увидел Андрея Белого на его лекции в Петербурге, за несколько лет до войны. В Петербург он наезжал довольно редко, и для тех, кто тогда только начинал умственно и душевно жить, не было и речи, чтобы можно было на доклад его не пойти. О чем он читал, — все равно: Андрей Белый будет говорить, надо, значит, его слушать! В выражении "мы", "для нас" есть всегда какая-то неясность. Кто "мы"? — вправе спросить всякий. В данном случае "мы" — это поколение, люди, которым кружил головы полуромантический, полурелигиозный тон новой русской поэзии, ее неясные взывания к Владимиру Соловьеву, который будто что-то "знал" и о чем-то "промолчал", ее ожидания чудесных превращений и свершений.

Принято считать, что русская молодежь предвоенных лет делилась на "декадентов" и "общественников". Это и так и не совсем так. После 1905 года в стихи Блока и Андрея Белого вошло слово "Россия", правда, в том гоголевском его звучании, которое препятствовало определить, о чем, собственно говоря, речь: географический ли это термин, имя ли народа, сумма культурных традиций и устремлений? Россия — "родина". И Гоголь, и Блок предпочитали называть ее Русью как более ласкательным, "интимным" именем. Мы, "декаденты", догадывались, что уже о ней думал Блок, рассказывая о своей Незнакомке с "очами синими, бездонными", и что во всяком случае время демонстративно-эгоистических замыканий "в области прекрасного" безвозвратно прошло. Безвыходность и бесплодность эгоизма нам была ясна. Белый посвятил один из своих тогдашних сборников памяти Некрасова, и это был знак, что должен быть найден мост. Да и какое же "преображение мира в башне из слоновой кости, с равнодушием ко всему, что способно мало-мальски нарушить "часов раздумий сладкий ход"?

Деление на "декадентов" и "общественников" во многом было основательно. Но не во всем. Судили по внешности. В петербургском университете существовали семинарии, где утвердилось обращение "товарищ", существовали и другие, где оно вызывало молчаливое осуждение. "Общественники"-студенты щеголяли косоворотками, "эстеты" и "декаденты" — белыми воротничками, что как будто доказывало классовое, социальное расслоение. Но в сознаниях шел порою процесс далеко не столь же элементарный, и определять его по воротничкам и манерам было бы опрометчиво и близоруко. Не одни только маменькины сынки были увлечены духовным движением, которое на вершинах своих жило ожиданием примирения двух жизненных начал: личного и, как тогда говорили, — "соборного".

На эстраде длинного и, как сарай, мрачного зала петербургского Соляного городка стоял человек, еще молодой, но уже лысеющий, говоривший не то с публикой, не то с самим собой, сам себе улыбавшийся, обрывавший речь в моменты, когда этого меньше всего можно было ждать, вдруг застывавший будто в глубоком недоумении, потом внезапно разражавшийся потоком безудержно быстрых фраз. Перед ним был пюпитр, похожий по форме на церковный аналой. На пюпитре горели две свечи в тяжелых серебряных подсвечниках. Лицо Андрея Белого было слабо освещено их колеблющимся пламенем. По временам оратор протягивал к подсвечнику руки и в такой "иератической" позе на три-четыре секунды замирал.

Было в его облике что-то торжественное и смешное. Аналой, свечи и какая-то слишком декоративная назойливая "вдохновенность" речи, — все это явно было бутафорией, притом бутафорией грубоватой и наивной. Но за баловством и очевидным кокетством чувствовалась глубоко взволнованная, подлинно "ищущая" душа. Сплетение юродства с серьезностью удивляло. Андрей Белый как равный спорил с Ницше

или Гете, цитировал Платона с такой живостью и запальчивостью, будто творец "Федона" тут же, вот здесь, находится рядом с ним на эстраде, с совершенной естественностью вводил слушателей в круг "вечных вопросов", им внезапно превращенных во что-то насущное, животрепещущее, злободневное, — и вместе с тем ломался, искажался, приседал, подпрыгивал, одним словом, комедианничал...

Он и убеждал, и раздражал. Он был слишком блестящ, чтобы убедить окончательно. Параллель с Блоком напрашивалась сама собой, и уже тогда складывалась не в пользу Белого, — хотя тогда-то именно и распространено было убеждение, что Белый "талантливее". Сам Блок, совершенно свободный от обычной литературной зависти, это убеждение охотно поддерживал. Не знаю, правильно оно или неправильно, да и нет весов или прибора, при помощи которых можно было бы это проверить! Но если правильно, то приходится сделать вывод, что понятие таланта в узком смысле слова не может быть ни в коем случае признано решающим для определения значения писателя: это одно из слагаемых, не более. Кроме него, нужны сердце, совесть, ум, с ним постоянно и неразрывно связанные, а не упражняющиеся сами по себе в придумывании метафизических фокусов, нужна почва, на которой зерно таланта проросло бы.

Блок как бы "дорастил" себя, дотянулся в чистом и длительном напряжении до высот поэзии, до права говорить за всю эпоху и представлять ее, до противустояния Пушкину в исторических судьбах русской литературы: каковы бы ни были его "падения", они этому не противоречат! Белый же вольно или невольно сгубил себя, и как бы ни было удобно объяснение, будто "погубить себя, значит спасти себя", нельзя ссылкой на эти глубочайшие и священные слова покрывать решительно все! От благочестивого смиренномудрия до кощунства ближе, чем от великого до смешного. Имеет значение — как губить себя и за что.

У Блока было огромное чувство ответственности за все сказанное и сделанное: оно-то и возвысило его. У Белого все всегда было наполовину на ветер, и, как ветер, все пронеслось

сквозь его сознание, не пустив корней. Гениальна была у Андрея Белого, в сущности, только его впечатлительность. Он на все откликался, схватывал на лету любую мысль, бросал ее, не успев додумать, переходил к чему-нибудь новому, оставлял и это, — он весь раздираем был взаимно-враждебными стремлениями и притяжениями. Но за впечатлительностью не было почти ничего. Во всяком случае, не было личной творческой темы, так явственно сквозящей в каждой строчке Блока. Белый мог быть ницшеанцем, социал-демократом, мистиком или антропософом с одинаковой легкостью, с одинаковой искренностью: врывавшиеся в его сознание идеи, результат чьего-нибудь долгого и, может быть, дорого обошедшегося личного творчества, выталкивали сразу все, чем жил Белый до того, и в пустоте обосновывались с комфортом. Белый проверял их по книгам или догадкам, но у него не было того духовного опыта, в свете которого можно было их по-настоящему рассмотреть. Оттого в конце концов, все им написанное и сказанное, — кроме нескольких стихотворений, — лишь "слова, слова, слова"... В лучшем случае, — это блестящая импровизация. Ей придает значительность только то, что сам Белый сознавал порочность своей неисцелимо поверхностной творческой натуры и, конечно, этим сознанием терзался, пытаясь, как черт у Достоевского, воплотиться в какую-нибудь "семипудовую купчиху": под конец жизни купчиха и явилась ему в образе диалектического материализма и упрощенного, ощипанного Лениным, гегельянства. Белый клялся, что наконец познал истину и обрел тихую пристань. Договорился он даже до необходимости решительной "перестройки" под наблюдением партийных учителей. Но в его писаниях звучала такая путаница чувств и настроений, такая неразбериха стремлений и надежд, такое страдание, наконец, что в перестройку никто не верил.

От лекции в Соляном городке невольно переносишься воображением к его беседам с новейшим "молодняком". Что было делать ударникам и литкружковцам, внезапно занявшим посты руководителей русской литературы, с этим растерянным, больным и необыкновенным человеком, то требо-

вавшим для себя каких-то особых материальных условий и обещавшим — в "Записках мечтателей" — создать "невиданные в мире полотна", то утверждавшим, что старые символические мечты нашли свое свершение в сталинской пятилетке, то отрекавшимся от прошлого и издевавшимся над своим детством, над былой своей средой, над друзьями отца и личными своими друзьями. Они сторонились его, считали Белого "обломком".

Обломком он и был, конечно, — всегда, везде! Он не мог творчески жить и развиваться, потому что, по-видимому, это не был настоящий "организм". Но обломки бывают разные. Этим — все-таки можно залюбоваться, этот можно предпочесть множеству иных, вполне благополучных писательских обликов и судеб. Всматриваясь в него, смутно догадываешься, чем мог бы стать человек и поэт, если бы природа не захотела в последний момент поглумиться над своим созданием и, наделив его всеми дарованиями, не забыла научить, как ими воспользоваться.

Три тома мемуаров Андрея Белого — "На рубеже двух столетий", "Начало века" и "Между двух революций" — относятся к последним годам его жизни. Белый был болен, существование у него в России сложилось очень трудное. На него со всех сторон покрикивали. Его учили уму-разуму. Достаточно прочесть первые строки предисловия к "Началу века", написанного Л.Каменевым, — тогда, в 1933 году, еще в качестве авторитетного марксиста судившего, где добро и где зло, где истина и где заблуждение, — чтобы понять, в каком положении Белый очутился. Предисловие обыкновенно имеет характер рекомендации. Вот что писал Каменев в начале его.

"С писателем Андреем Белым произошло трагикомическое происшествие: комическое, если взглянуть на него со стороны, трагическое — с точки зрения переживаний самого писателя. Трагикомедия заключалась в том, что искренно почитая себя участником и одним из руководителей крупного культурно-исторического движения, писатель на самом деле проблуждал на самых затхлых задворках истории, культуры и литературы...

Октябрьская революция спасла кое-кого из этого поколения буржуазной интеллигенции, например автора "Начала века", — и, быть может, спасет еще кое-кого. Но чтобы спасти их, она должна была взять их за шиворот и сорвать с того пути, по которому они двигались, ибо по самому своему характеру это была обреченная на гибель группа. Без Октябрьской революции путь ее был предопределен. Наиболее "деловые" и "серьезные" из них, вроде Мережковских или Булгаковых, стали бы архиереями светской церкви, штампованной буржуазной идеологии, а другие, менее устойчивые и менее солидные, — шутами при ней".

Белый добавил к тому, что написано было Каменевым, несколько слов "от автора".

"Воспитанные в традициях жизни, которые претят, в условиях антигигиеничных, без физкультуры, без нормального отдыха, веселых песен, товарищеской солидарности, не имея возможности отдаться тому, к чему тебя влечет инстинкт здоровой природы, — мы начинали полукалеками жизнь. Юноша в двадцать лет был уже неврастеником, самым противоречивым истериком... Странен для нашего времени образовательный стаж наиобразованнейших людей моего времени. Я рос в обстании профессоров, среди которых был ряд имен европейской известности. С четырех лет я разбирался в гуле имен вокруг меня: Дарвин, Геккель, Спенсер, Милль, Кант, Шопенгауэр, Вагнер, Коперник и так далее. Не было одного имени — Маркс... Я не читал: Маркса, Энгельса, Прудона, Фурье, Сен-Симона, Блюхера, Молешота, — стыжусь, — Чернышевского, Ленина. Что же я читал? Лейбница, Канта, Шопенгауэра, Гартмана, Ницше, Платона..."

Слово "стыжусь" к этому списку не добавлено, но выбором чтения Белый горестно и смущенно мотивирует, что, "борясь" с Кантом, я ничего противупоставить Канту не мог". Горечь и смущение испытывает он, вероятно, в самом деле и заражает ими читателя. Но смущение это, так сказать, "с другой стороны".

Отдельные тома несхожи между собой. Первый, детский, посвященный московской профессорской среде и отцу поэта, знаменитому математику Н.В.Бугаеву, при всей своей желчности все-таки спокойнее и "добрее" второго, а в особенности последнего. Первый — для Белого сравнительно малопоказателен, так как в чуждой ему атмосфере автору не удается развернуться. Автор издевается чуть ли не над всеми, кого вспоминает, но издевается без "вдохновения", без наслаждения! Что ему московские профессора, что ему, например, Максим Ковалевский, у которого "сидел я на коленях, поражаясь мягкости его живота", или Янжул, "под животом

которого я игрывал"? Почти всех друзей и сослуживцев отца Белый изображает чудаками, поясняя, впрочем:

"Я хочу, чтобы меня поняли: чудак в условиях современности — отрицательный тип; чудак в условиях описываемой эпохи — инвалид, заслуживающий уважительного внимания".

Портрет отца удивителен. Он строен, сложен и блестящ. Не берусь только судить, насколько он правдив именно как портрет, а не как поэтический образ. Однако за давностью лет первый том воспоминаний Белого легче воспринять именно как поэтическую фантазию. Едва ли ученая Москва конца прошлого века была сплошь чудаковатой и даже придурковатой, как хочет ее представить автор. И, вероятно, такие, например, страницы следует скорее отнести на счет его иронического воображения, чем признать в них беспристрастие летописца.

"Много я бытов видал, во многих бытах я жил, но такого ужасного, тусклого, неинтересного быта, какой водворила профессорша восьмидесятых годов, я, бежавший давно от профессорш, — могу смело сказать, не видывал я такого быта: купцы, офицеры, художники, революционеры, рабочие, крестьяне жили красочнее среднего профессора и средней профессорши; ни у кого "как у всех" не блюлось в такой твердости; ни у кого отступление от "как у всех" не каралось с такой жестокостью! Профессор сидел заключенный в своем кабинете с профессоршей, за него тарахтящей; в гостиной она тарахтела; он глупо мычал и улыбался; в результате вынашивалась транша, которой внушалась власть неограниченная и тупая".

Впрочем, кое-что подлинно — интересно и в качестве свидетельства летописца. Например, рассказ о В.И.Танееве, московском адвокате, который, по-видимому, был чудаком настоящим.

"Его идеалами были: Робеспьер, Пугачев. Он собрал ценную коллекцию изображений Пугачева. Одно из них, увеличив, повесил, как икону, у входа в свой собственный библиотечный зал и всякого ведомого в зал (это был ритуал) останавливал перед иконой, прочитывал лекцию и после, отвешивая нижайший, до полу поклон не то Пугачеву, не то собственным словам о нем, припевал плачущим громким голосом, напоминавшим голос Толстого:

— Вот самый замечательный, умный и талантливый русский человек!"

У Танеева, как вспоминает Белый, существовала любимая фраза, которую он постоянно повторял: "Это будет, когда мужики придут рубить нам головы".

Московские его собеседники посмеивались. Но "чудак" оказался, надо сознаться, довольно дальновидным человеком.

Второй и третий тома теснее друг с другом связаны, хотя и отличны все-таки по общему тону. Третий том писан Белым незадолго до смерти, когда ему, очевидно, все уже было более или менее безразлично. Он обижен был на целый свет, он сводил счеты с каждым, кого вспоминал. Каждому доставалось по-разному, а изобретательность Белого в придумывании особенно оскорбительных и отвратительных характеристик была неистощима. Откровенную грубую брань неприятно, а часто и больше чем неприятно — непристойно — повторять. Поэтому о многих страницах второго и третьего тома не хочется вовсе упоминать. Надо только подчеркнуть, что, опустившись и обрюзгши духовно, Белый ничуть не ослабел как художник. Попадаются у него главы поистине ослепительные, полные какой-то дьявольской изобразительной силы и злобы. Но какое коварство, — и откуда оно!

Вот строки о Розанове, которого Белый величал когда-то "одним из первейших писателей русских":

"Можно ли назвать разговором варенье желудочком мозга обо всем, что ни есть: о Мережковских, о себе, о Петербурге? Он эти отправления выбрызгивал с сюсюканьем без конца и без начала. Какая-то праздная и шепелявая каша с взлетанием бровей. В варенье было что-то наглое, в невиннейшем виде — таимая злость".

Или глава о Вячеславе Иванове, которого Белый называл "мудрецом и учителем".

"Был период, когда я подумал: не волк ли сей овцеподобный наставник?.. Не доставало только, чтобы он, возложивши терновый венец на себя, извлек восклицание:

— Се человек!

Прошу не смешивать с евангельским текстом. В контексте с показом Иванова "се человек" означает:

— Се шут!

Таким мне казался он. Казалось, что вырос он из немецкого учителя в какого-то Мельхиседека. Прошу не смешивать с Мельхиседеком библейским. В контексте с показом Иванова Мельхиседек означает: почти шарлатан.

Ставший в России поэтом, почтенный профессор Иванов совсем обалдел, перепутавши жизнь с эпиграфикой, так что история культов от древних Микен до руин Элевэиса, попав из музея в салон, расцве-

ла в чепуху. Видно бросилась в голову кровь, застоявшаяся в семинарии!"

О других лучше промолчать, щадя прежде всего самого рассказчика. Выделяются, пожалуй, только некоторые записи о Гершензоне, о Александре Бенуа, в особенности о Федоре Сологубе.

У Сологуба давно и прочно сложилась репутация тяжелого, резкого на язык человека. Но все видевшие его в старости, после революции и после гибели его жены А.Н.Чеботаревской, сходятся в том, что он как будто преобразился, "просветлел" от несчастья и стал в скромности и простоте своей обаятелен. Белый посвятил ему самые сердечные, — без всякой сентиментальности — страницы в книге.

"Лишь последние встречи показали мне его совсем неожиданно. Я имел каждый день удовольствие слушать его. Он так красиво говорил, вспоминая свои впечатления от певицы Патти, что Патти не слыша, я как бы заочно услышал ее! Он перед смертью силился вобрать все в себя и на все отзываться. Иванов-Разумник и я молча внимали тем песням: он казался в эти минуты седым соловьем.

В четыре часа являлся пылающий чай в тихой квартирке Разумника. В окна глядела доцветающая сирень. Разумник Васильевич начинал стучать в стену, и в ответ хлоп-хлоп входная дверь.

— Это Федор Кузьмич!

И шаги, и запых. Алебастровая голова лысой умницы, белой как лунь появлялась к чаю. Садясь за стакан, он хмурел и поохивал:

— Тяжко дышать!

Чаю откушав, старик просветлялся. С растерянной, ставшей нежной улыбкой, сиял голубыми глазами на все и рассказывал точно арабские сказки: о Патти, о жизни, о строчке стиха. Четыре часа журчал он каждый день. И бывало заслушаешься. И я, его бегавший двадцатилетие, улыбался с утра и думал: "И сегодня явится сказочник Федор Кузьмич".

С Блоком у Белого отношения сложились трудные. Воспоминания его о нем, помещенные в берлинской "Эпопее", достаточно известны. Однако в книге "Между двух революций" много и нового. Неожиданна — явная недоброжелательность. Не стану заподазривать автора записок в том, что утвердившаяся и окрепшая за последнее десятилетие слава Блока в соседстве с померкшим его собственным ореолом внушила ему враждебные чувства. Как знать, чем они вызваны? Но если и прежде Белому случалось упрекать Блока в

идиотизме, в "чепуховитости" и в "абсолютном отъединении от всякой мыслительной культурности" ("Начало века") , то в самые последние годы жизни он пошел много дальше. Он уже не Блока упрекал, а себя в том, что "образ серого Блока был мною вычищен".

"Воспоминания, напечатанные в "Эпопее", продиктованы горем утраты. В них образ серого Блока непроизвольно мною вычищен: себе на голову. Чтобы возблистал Блок, я вынужден был на себя напялить колпак! Не могу не винить себя за фальшь ложного благородства".

Белый не склонен больше к "самоуничижению и дон-кихотству", не желает, чтобы Блок у него "блестел, как самовар". Сравнение с самоваром красноречивее всех дальнейших рассуждений и выдает чувства, с которыми мемуары писаны. Сколько бы Белый ни говорил о своем "благородном друге", в рассказе он останавливается на чертах, с благородством имеющих мало общего. Правда, рассказчик скрывается за спину поэта Сергея Соловьева, вместе с которым гостил у Блока в деревне, образуя "троицу друзей". Это Сергей Соловьев восклицал: "Нет, каков лгун, каков клеветник!" Это Сергей Соловьев назвал "Балаганчик" — "шедевром идиотизма". Но Белый молчит и не отмежевывается от этих оценок. Обычная его словоохотливость изменяет ему как раз в тот момент, когда было бы до крайности интересно узнать, каковы были его личные суждения.

Поставим здесь точку. Цитаты, надеюсь, убедили, что все, сказанное до них, не было совсем голословно. Книга валится из рук, хотя и есть в ней — как же этого не чувствовать и не слышать! — тот дребезжащий звук "оборвавшейся струны", который вместе с широчайшей умственной порывистостью облагораживает писания Белого. Книга ужасна, но с недоумением читая и перечитывая ее, вспоминаешь все-таки, чем и почему Белый когда-то был дорог, и за что многие любят его и до сих пор.

"Не смейтесь над мертвым поэтом". Можно было бы поставить и другой эпиграф к воспоминаниям Белого, — то, что "невольно думалось" когда-то Тургеневым при виде Гоголя: "Какое ты умное, и странное, и больное существо".

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РОЗАНОВ

Во втором выпуске "Верст" перепечатан "Апокалипсис нашего времени" — последние, предсмертные статьи Розанова, издававшиеся отдельными книжечками в Сергиевом посаде в 1918 году.

Мало кто с этим "Апокалипсисом" знаком. В России его нигде не было видно; здесь о нем не все даже и слышали.

Начинаешь читать "Апокалипсис" с любопытством. Очень скоро любопытство сменяется увлечением, растущим с каждой строчкой. Не могу представить себе, чтобы кто-нибудь мог оторваться от этих пламенных страниц, не дочитав их, не заразившись их страстью и грустью. "Моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти", — сказал когда-то Розанов о самом себе, кажется, в "Уединенном". Он забыл добавить: "и из страсти". Или, может быть, "страсть" настолько заполняла его существо, являлась столь основной "субстанцией" этого существа, что он ее и не замечал, как бы не будучи в состоянии взглянуть на нее со стороны.

Розанова многие в наши дни разлюбили. Признаюсь, что и я — один из этих "многих". Упоминаю об этом только для того, чтобы иметь возможность убедительнее и яснее говорить о нем. Были годы, когда для меня не существовало другого писателя, другого ума, другого круга мыслей, даже другого стиля. Потом настало медленное охлаждение, и, когда я пытаюсь беспристрастно разобраться в причинах этого охлаждения, мне думается, что есть в нем и розановская вина. Розанов в конце концов все-таки — гениальный болтун, писатель без тайны, без божественного дара умолчания, сразу вываливающий все, что знает и думает. В таких писателей можно влюбиться, но им трудно остаться верными. Все договорено, все объяснено, вся душа обнаружена, — и в конце концов становится скучно. Как не понял этого Розанов, вечно писавший о "музыке" мысли, и сам лишивший музыки свою мысль, по природе на редкость "музыкальную", на редкость тонкую и сложную! Бесстыдство, бессовестность стиля

погубило ее. Есть ведь на высотах мысли нечто подлинно "несказанное". Об этом между писателем и читателем существует круговая порука: "помолчим".

Розанов не выдержал. Нарушил молчание, попытался все уложить в слова, каждому изгибу сознания, каждой миллионной доле мысли или чувства найти словесное отражение. И действительно нашел. Розановскии стиль есть действительно чудо. Но чего достиг он этим чудом? Повторяю: в конце концов только скуки. Может быть, у другого беднее была душа, суше ум. Но другой не вывернул себя наизнанку, и что-то в нем осталось неведомым. Остался — по розановскому выражению — "просвет в вечность". Со всем своим богатством Розанов покажется рядом грубоват и плосковат.

Эти общие размышления о Розанове могут найти "сочувственный отклик" — в чем я далеко не уверен — только у тех, кто очень хорошо с ним знаком. Тем же, кто еще не пережил первичной стадии влюбленности в этого писателя, — единственного по своеобразию мысли, по ее остроте и прозорливости, — можно только с завистью посоветовать прочесть его. И лучше не самые последние его вещи, не "Опавшие листья" (ни в каком случае! — там девяносто девять процентов размягчения, расслабления, под влиянием начавшейся славы, и, вероятно, сознания, что "я особенный, оригинальный", "мне все позволено", "все мое интересно" и т.д.), ни даже "Уединенный лик" (первый том "Метафизики христианства"). "Апокалипсис нашего времени", конечно, слабее этой книги, но он самое замечательное из всего, что написано Розановым за последние десять лет его жизни. Он много глубже, напряженнее, серьезнее, чем "Опавшие листья".

В "Апокалипсисе" Розанов говорит о революции и о гибели русского государства. Для него это гибель окончательная и бесповоротная. Он причитывает, плачет, воет над "останками Руси великой". И самым ужасным ему кажется то, что Русь погибла так бесславно.

"Что такое совершилось для падения Царства? Буквально, оно пало в буден. Шла какая-то "середа", ничем не отличаясь от других. Ни воскресенья, ни субботы, ни хотя бы мусульманской пятницы. Буквально, Бог плюнул и задул свечу. Не хватало провизии и около

лавочек образовались хвосты. Да, была оппозиция. Да, царь скапризничал. Но когда же на Руси хватало чего-нибудь без труда еврея и без труда немца? Когда же у нас не было оппозиции? И когда царь не капризничал? О, тоскливая пятница, или понедельник, вторник...

Можно же умереть так тоскливо, вонюче, скверно. Актер, ты бы хоть жест какой сделал. Ведь ты всегда был с "готовностью на Гамлета". А то даже Леонид Андреев ничего не выплюнул. Полная проза.

Да, уж если что "скучное дело", то это — падение Руси. Задуло свечку. Да это и не Бог, а... шла пьяная баба, спотыкнулась и растянулась. Глупо. Мерзко. "Ты нам трагедии не играй, а подавай водевиль"...

Тон этих размышлений уныло-безжизненный. Но мало-помалу от России, царя и революции Розанов переходит к двум вечным своим темам — Христу и еврейству. И в последний раз он впивается, вгрызается зубами в эти темы, он дописывает свои предсмертные мысли, свое завещание. Некоторые страницы "Апокалипсиса" о Христе и в особенности о евреях — вполне удивительны и прекрасны. Для меня нет сомнений, что по-настоящему Розанов только это и любил в мире: Христа и евреев. Нельзя столько разглядеть, не любя, нельзя столько понять, не любя. И перед Христом, и перед еврейством Розанов был "ужасно грешен".

Некоторые читатели усмехнуться, вероятно, прочтя, что Розанов любил евреев. Репутация его ведь общеизвестна: крайний юдофоб. Добавим к слову "любил" — "считал наиболее важным", "относился с большим вниманием" и т.д., но самое слово все-таки оставим.

Да, было "Новое время", даже "Земщина" с псевдонимом Варварина, статьи по делу Бейлиса, выпады, глумления. Но, во-первых, душа, создавшая все это, "сплетена из грязи, нежности и грусти", во-вторых, в этой душе уживались невероятные, беспримерные противоречия и путаница и, в третьих, "Новое время" и "Земщина" — это публицистика, совершенно несравнимая по тону с предсмертными вдохновенными гимнами, которые с умилением и страстью слагал этот "юдофоб" еврейскому народу. Прочтите в "Апокалипсисе" рассказ о встрече в трамвае или о Суламифи.

Еще грешнее чувствовал себя Розанов в отношении Иисуса Христа. Никто никогда не восставал с такой силой на Евангелие. Но оказалось, что вся логика доводов, вся "сатанинская" сила обличений и дерзость критики — все это лишь для того, чтобы тем большую жертву принести Учителю, от больших благ ради Него отречься, с большей сладостью ощутить подвиги отречения. Лев Шестов заметил когда-то что из русских писателей один только Розанов "умеет произносить имя Божье". Вместе с Шестовым это почувствовали и русские священники, "попы", как их презрительно называл Розанов, и, почувствовав, поняли, что он, Розанов, не страшен и от них не уйдет. Розанов действительно не ушел: умер он в полном смирении и подчинении Церкви. Это давно можно было предугадать. Еще в "Метафизике" он восклицал: "Да сияют образа эти вечно!" — наперекор всей книге, всему своему замыслу.

В "Апокалипсисе" Розанов собирает последние доводы против христианства. Чувством он уже окончательно побежден. Но разум еще борется, и ни за что не хочет уступить. Примирения разума с чувством не произошло, и умер Розанов с "credo quia absurdum" в душе, или вернее, "люблю quia absurdum".

Не примирил он в себе ни страха перед Иисусом Христом, "царем ужаса!" с обожанием его образа, ни своего влечения к евреям, "нежнейшему из народов мира", с борьбой против них, ни преданности великодержавной Руси с горьким сознанием того, что Русь — лишь пьяная баба, растянувшаяся лицом в грязь. Но как-то по-своему, по-розановски, он умер успокоенный и просветленный.

Начало этого предсмертного просветления отражено в его "Апокалипсисе".

ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ

После долгого молчания Виктор Шкловский выпустил новую книгу. Называется она "Третья фабрика". Размышления и воспоминания.

Прежде чем говорить о книге, мне хочется сказать несколько слов об авторе ее. Знаю я его очень давно.

Кажется, это было в 1912 году. В Петербургском Тенишевском зале футуристы, тогда еще разделявшиеся на кубо- и эго-футуристов, устроили вечер. Эго — были люди безобидные, поклонники Игоря Северянина, кубо — последователи братьев Бурлюков, дикие и свирепые. Был "кубо-вечер". После доклада и стихов открылись прения. Все происходило, как всегда: извивался и малодушничал Чуковский, изрекал пошлости будущий академик Петр Коган и в ответ, потрясая кулаками, ругался Маяковский, тогда еще ходивший в своей великолепной желтой кофте. И вдруг этот же самый грубиян-Маяковский, весь будто преобразившись, вытащил на эстраду студента в помятом сюртуке, с огромным выпуклым, блестящим черепом и в каких-то необычайно лестных, почти подобострастных выражениях представил его публике. Кажется, он даже произнес слово "гений".

Студент начал говорить. Гениального ничего не сказал, но слушатели насторожились. Почудилось действительно что-то не совсем обыкновенное.

Студент этот был Шкловский. На следующий день в литературных кружках он уже был "знаменитостью".

Теперь Шкловский знаменит без кавычек и не в одних только литературных кружках. Но в сущности вполне оценить его могут только те, кто лично его знает. Та же часть его славы, которая основана не на знакомстве с ним, а на книгах, непрочна и до известной степени есть слава в кредит, по наслышке, по доверию к слухам и отзывам. Бесспорно, Шкловский — один из самых способных людей в нашей литературе. Но именно людей, и только людей. Как писатель это какой-то вечный недоносок, вечный дилетант.

Здесь я не затрагиваю его значение как основателя и главы формальной школы. Может быть, это значение и очень велико, — не знаю. Я имею в виду слово "писатель" в более широком, общем и важном смысле. Маяковский ошибся, назвав Шкловского гением, но ошибка его вполне понятна. В беседе Шкловский действительно бывает полугениален, во всяком случае исключительно интересен, самостоятелен, свеж, остер. Не только ум его неотразим, но и вся личность необычайна, — грубоватая, угловатая, заносчиво-развязная, но живая в малейшем проявлении. Ей, этой личности, ее силе, сразу доверяешь. Заранее веришь, что Шкловский должен блестяще отразиться в литературе именно как личность, а не только как ум, то есть не только в научно-теоретических работах, но и в более свободных писаниях. Однако этого не случилось. Способности Шкловского не соединились в едином таланте. Удивительно, что книги его имеют столь широкое распространение. Правду сказать, они того не заслуживают.

Есть, впрочем, одно оправдание этому успеху. В книгах Шкловского, сквозь слабость чисто литературного дара, безвкусие, бахвальство, неврастению, беспомощность просвечивает некая душевная щедрость, богатство и роскошь жизненной энергии, та самая личная необычайность, которая у него неотъемлема. У нас, да и вообще в Европе, это сейчас редкость. Искусством сейчас владеют и правят те, кого Вяч. Иванов как-то назвал "скупыми нищими жизни". По праву или нет — вопрос особый. Но Байроны и Шиллеры, расточительные миллиардеры жизни, теперь перевелись. В Шкловском есть в этом смысле что-то от Байрона.

Не разочарует ли его поклонников "Третья фабрика"? Это очень грустная книга, смертельно грустная. Ничего не осталось от былой бодрости Шкловского, от его задора и буйства. "Тише воды, ниже травы". Книга отмечена "есенинскими настроениями". Но Шкловский крупнее и резче Есенина, и ликвидирует он жизнь болезненнее. Что с ним случилось? Откуда его отчаяние, его безнадежная ирония? Похоже на начало конца, на начало полного крушения.

Книга названа "Третья фабрика" по двум причинам. Во-первых, на какой-то 3-й фабрике Госкино Шкловский теперь служит. Это повод внешний. Во-вторых, он считает, что на трех фабриках обрабатывала его жизнь. Первая — детство, семья. Вторая — университет, формальная школа. Третья — теперешняя бестолковщина, Москва, с нелепой службой, потерей друзей, невозможностью работать. Об этой своей жизни он и рассказывает.

Написана книга, на мой взгляд, плохо. Признаю, однако, спорность моего мнения и не сомневаюсь, что многим цветистый стиль "Третьей фабрики" чрезвычайно понравится. Ко-

нечно, одаренность Шкловского сказывается. Каждая фраза его, каждая строчка удивляют. При отсутствии внешней отделки, в каждой фразе есть крайняя изощренность. Отчасти Шкловский напоминает мне в этой книге "Шум времени" Мандельштама, отчасти Поля Морана, в особенности "Rien que la terre".

О мандельштамовском "Шуме времени" писали в свое время довольно много, и очень восторженно. Охотно присоединяюсь к восторгам, поскольку они относятся к остроте мандельштамовской мысли. Но не могу скрыть уныния и скуки, вызываемых у меня мандельштамовским слогом. То же относится и к Шкловскому, и к Полю Морану. Нельзя безнаказанно уснащать речь образами, раскрашивать ее, усложнять, перегружать стилистическими эффектами, подчеркивать и выделять каждую фразу. Иногда видишь таких актеров: каждый жест обдуман, каждое движение рассчитано, но именно из-за обилия деталей ускользает главное, существенное, единое. По настоящему даровитый актер часто кажется бледен, даже небрежен в подробностях, потому что он не суетлив и не отвлечен пустяками.

В писаниях талант и подлинный стилистический вкус ощущаются неуловимо по крепости и слитному единству целого. Если у писателя можно отметить оригинальность образов, удачность отдельных выражений, а за вычетом этих удач у него ничего не останется, — это плохой признак. Между тем настоящей похвалой должно бы быть только недоумение: "Хорошо, и не знаю, почему хорошо!" Только это ценно. Только такое целое прекрасно, в котором потонули и окончательно растворились все подробности и частности.

У Шкловского частности лезут вперед, требуют внимания к себе, все время задерживают чтение. Встречаются обороты мысли и языка очень остроумные. Но это сплошь мозаика, ни во что единое не сливающаяся.

Впечатление глубокой внутренней растерянности этот язык только усиливает.

Публикация Григория Поляка

Ел.ГЛЕЗ

НЕВИДИМЫЕ ПИСЬМА
(223 стр.)

Ел.Глез (Илья Исаакович Глезер) — по профессии и по призванию прежде всего биолог, большую часть своей жизни он провел в Москве, и его труды в области строения нервной системы получили международное признание.

В 1972 г. Глезер был арестован и как сионист получил шесть лет лагерей и ссылки.

Книга "Невидимые письма" — это воспоминания Глезера об этих шести годах. Однако воспоминания не совсем обычные. Лагерная тема, уже так много раз присутствовавшая в нашей литературе, в его книге получила неожиданное освещение.

Ее первая часть "Лефортовские сказания" — это прежде всего раздумья автора над судьбой еврея вообще. Потому так логичны библейские реминисценции и мотивы, которые он вводит в текст. А форма писем, которую избрал автор, придает его воспоминаниям интимную, камерную интонацию.

Вторая часть — "Богучанские чаепития" посвящена годам ссылки. Главный герой ее не столько сам автор, сколько русские люди, с которыми пришлось столкнуться Илье Глезеру в ссылке. Яркие, колоритные характеры сибиряков надолго запомнятся читателям.

Казалось бы, воспоминания, даже беллетризованные, но посвященные лагерю и ссылке, не могут носить оптимистического характера. И тем не менее "Невидимые письма" написаны оптимистом.

Оформил "Невидимые письма" тоже оптимист. Имя его Вагрич Бахчанян.

Стоимость книги 12 долларов. Плюс 1 дол. за пересылку.
Заказы и чеки направлять по адресу:
I.Glezer
106 Pinehurst ave. , A-34
New York, New York
10033

ИСКУССТВО ЮВАЛЯ МАЛЕРА

— Сара, смотри, третья справа, в пятом ряду — это любовница Хаима, а та, что стоит в проходе — Моше.

— А где наша?

— Наша? Наша во второй ложе, видишь, в зеленом платье.

— Наша лучше всех!

И наша "Ла белла", наша красотка тоже лучше всех. Смотрите, сколько мужчин столпилось вокруг нее. Один, чтоб не ослепнуть закрыл ладонью глаз; другой, наоборот, вытаращил оба; третий застыл, выписав губами: "О!"; четвертый готов бежать от соблазна, но не в силах; пятый — вот лицемер! — делает вид, что не смотрит, сам же исподтишка разглядывает красотку; шестой... Да разве всех опишешь!

Чуть-чуть утрируя, чуть-чуть упрощая, убирая подробности и заостряя главное — как в коротком юмористическом рассказе, — Юваль Малер в своих литографиях показывает все разнообразие человеческих характеров.

Сюжеты его работ незамысловаты: соседи, любопытствующие, что там происходит на улице и куда это спешит наша Бася, пикник в лесу, где каждый развлекается по собственному вкусу; влюбленные, гадающие: любит-не любит; болтухи, несущие абракадабру...

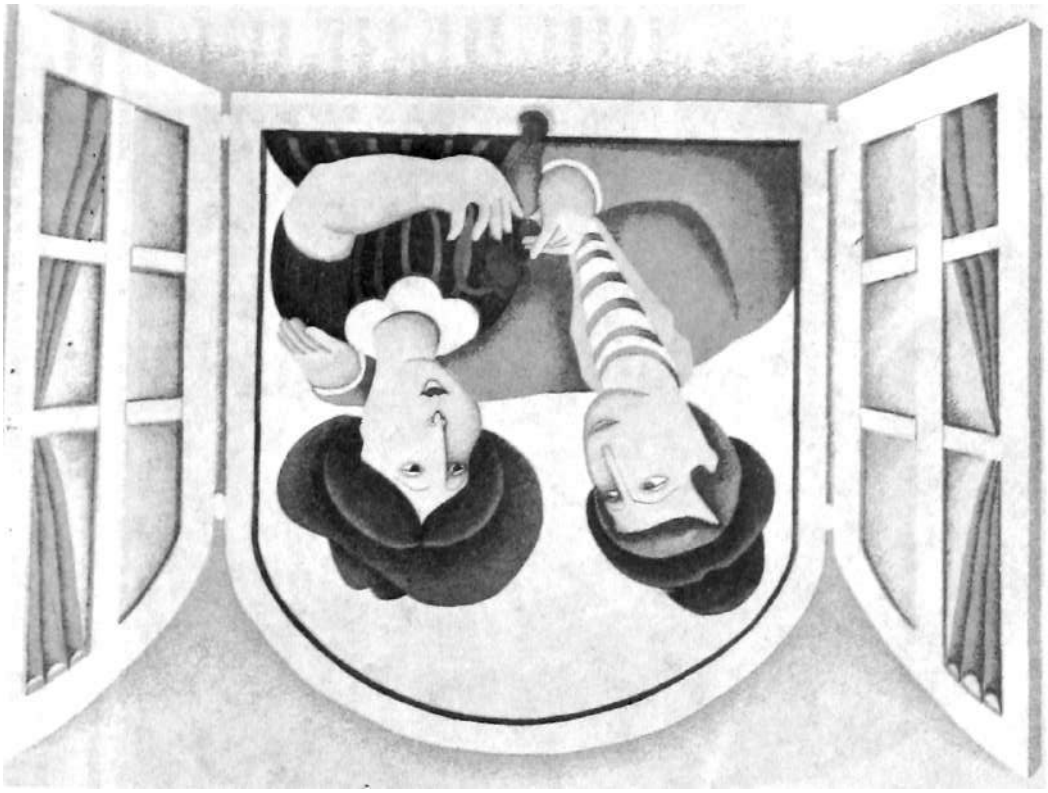
Персонажи этих эстампов похожи на кукол, на рисованых человечков из мультфильмов (недаром художник окончил графический и мультипликаторский факультуты Нью-йоркской школы искусств). И как герои мультфильмов всех стран, его герои простодушны, непосредственны и добры.

Но ставший международным, язык мультфильмов Юваля Малера вовсе не превращается в язык эсперанто. Его герои отнюдь не вненациональны, типичность лиц и характеров сразу выдает в них евреев, а страна, в которой они живут — это маленькая страна, мечтающая о мире.

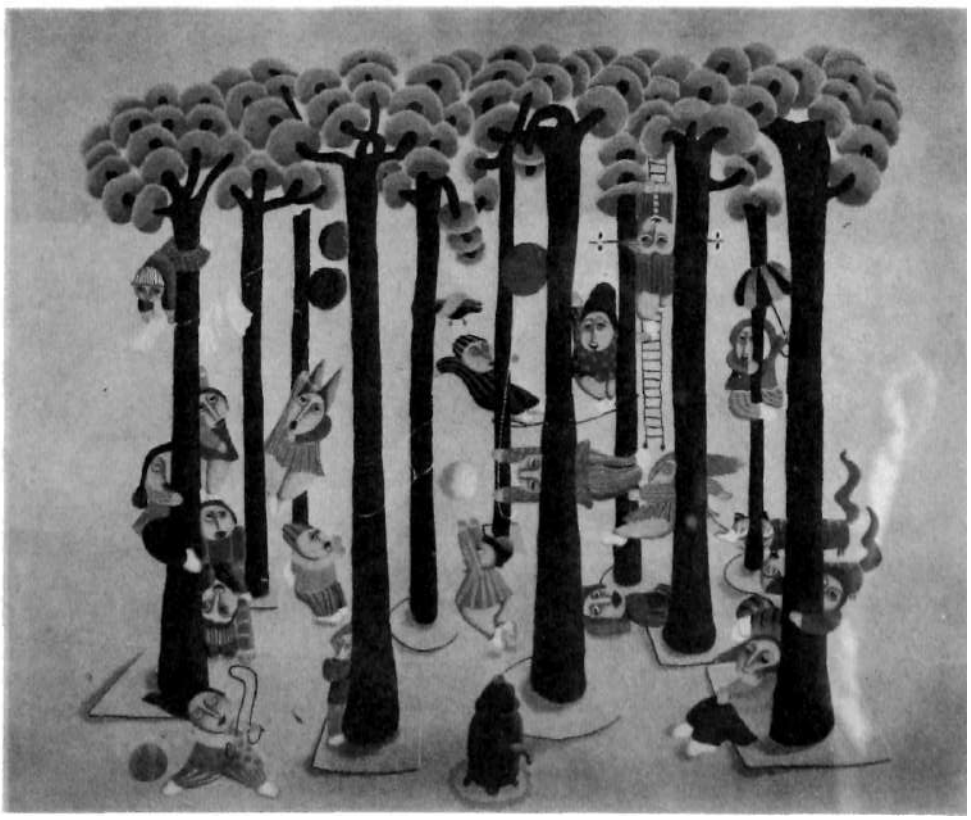
Юваль Малер родился в Израиле. Ему 33 года. И он знает, что такое война. Но в его искусстве войне нет места. Мечта Израиля о мире — это и его мечта. Мирная тема аранжируется Малером во всех сюжетах, то достигая поразительной точности в воспроизведении быта, то приобретая сказочные, нереальные черты. Но будь то соседи или катающиеся на роликах человечки и коты, будь то кукольный персонаж, усевшийся на деревянную лошадку или влюбленные, — все они часть доброго, мирного и счастливого Израиля — его маленькой и любимой страны.

Ася КУНИК

La Belle



Любит — не любит



Пикник

Солнечная энергия

Па-па-па...

Соседи

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

ДЖОН БАРРОН "КГБ СЕГОДНЯ"

Большинство наших читателей знакомо с именем Джона Баррона —автора нашумевшей книги "КГБ", переведенной на многие языки мира, в том числе и на русский.

Книга "КГБ сегодня" — новейшее исследование того же автора, рассказывающее о самых зловещих сторонах и тайных пружинах деятельности советской секретной полиции в наши дни.

На примерах подрывной деятельности КГБ в Соединенных Штатах и Японии Джон Баррон рисует зловещую картину политического бандитизма, инспирируемого Москвой во всех странах мира.

В книге подробно раскрывается механизм деятельности КГБ. Джон Баррон рассказывает о том,

КАК ДЕЙСТВУЕТ КГБ СЕГОДНЯ — И В СССР, И В ОСОБЕННОСТИ ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ

КАК ГОТОВЯТСЯ КАДРЫ БУДУЩИХ РАЗВЕДЧИКОВ И ВЕРБУЕТСЯ АГЕНТУРА НА ЗАПАДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ СРЕДЫ САМЫХ КРУПНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ,

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КРАЖА ПЕРЕДОВОЙ ЗАПАДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ,

КАК КГБ ВЛИЯЕТ СЕГОДНЯ НА ВНЕШНЮЮ И ВНУТРЕННЮЮ ПОЛИТИКУ ЗАПАДНЫХ ГОСУДАРСТВ И О МНОГОМ ДРУГОМ.

Книга написана в форме захватывающего детектива. В то же время она является важнейшим обличающим документом нашего века.

Объем книги — 432 страницы. Цена — 22 доллара.

Заказы и чеки высылайте по адресу:
Time and We
475 Fifth ave, suite 511-A
New York, New York
10017

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

АНДРЕЙ НАЗАРОВ — родился в 1943 г. в Москве. После школы работал репортером московских газет и Радиокомитета. В 1970 г. закончил Московский литературный институт. Кандидат филологии. Занимался литературной работой. Был сторожем, рабочим геофизических партий, грузчиком, лифтером, лесорубом. С 1981 г. живет в Дании. В настоящее время занимается исследовательской работой в Славянском институте Копенгагенского университета.

САША СОКОЛОВ — родился в 1943 г. После школы работал препаратором в морге, токарем. Затем учился на факультете иностранных языков в военном училище, но не окончил его. Поступил в МГУ на факультет журналистики. С 1975 г. живет в Канаде. Автор двух книг: "Школа для дураков", которая переведена на многие европейские языки и "Между собакой и волком".

ЕВГЕНИЙ ДУБНОВ — родился в 1949 г. в Таллине. Окончил МГУ и Бар-Иланский университет в Израиле (факультет психологии и английской литературы). На Западе с 1971 г. В настоящее время ведет научную работу и преподает в Лондонском университете.

АЛЕКСАНДР ОЧЕРЕТЯНСКИЙ — родился в 1946 г. в Киеве. Закончил институт культуры. Работал как библиотекарь и библиограф. Стихи пишет с 1964 г. но в Союзе не публиковался. На Западе, где живет с 1979 г. (Нью-Йорк) печатался в журналах "Ковчег", "Эхо", "Мулета", еженедельнике "Новый американец" и др.

РОМАН БАР-ОР — родился в 1953 г. в Сибири. С семи лет жил в Ленинграде, где закончил матмех ЛГУ. В СССР не публиковался. С 1979 г. живет в США.

ЛЕВ ТИМОФЕЕВ — рукопись получена по каналам самиздата.

СОЛОМОН ЦИРЮЛЬНИКОВ — родился в 1905 г. в Елизаветграде. Учился в Одесском институте народного хозяйства. Был участником молодежного сионистского движения и эмигрировал в Палестину в 1928 г. После второй мировой войны был секретарем Общества дружбы "Израиль—СССР", из которого вышел в 1956 г. в знак протеста против угроз советского правительства в адрес Израиля. Журналист, политический комментатор. Постоянно выступает в израильской прессе.

ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ — родился в 1926 г. Окончил Киевский университет в 1949 г. и Московский статистический институт в 1950 г. Социолог. Работал в Новосибирском университете, а затем в Институте социологических исследований в Москве. Эмигрировал в мае 1979 г. В настоящее время — профессор Мичиганского университета.

БОРИС ХАЗАНОВ (Геннадий Файбусович) — родился в 1928 г. в Ленинграде. Учился на классическом отделении МГУ, откуда был исключен за антисоветскую пропаганду. Приговорен к восьми годам лагерей. В 1955 г., после освобождения, окончил медицинский институт и работал как врач в Калининской области и в Москве. Занимался литературной работой. Публиковался на Западе, за что был подвергнут преследованиям со стороны КГБ. В 1982 г. эмигрировал. Живет в Мюнхене. Один из редакторов журнала "Страна и мир". Хазанов — автор повестей "Час короля", "Я Воскресение и Жизнь", философского эссе "Письма без штемпеля", книги "Запах звезд" и целого ряда статей на философско-литературные темы.

ЛЕОНИД ШАМКОВИЧ — родился в 1923 г. в Ростове-на-Дону. Окончил Политехнический институт. В 1949 г. стал мастером спорта по шахматам. Дважды (в 1954 и 1956 г.) чемпион РСФСР. Звание гроссмейстера завоевал в 1964 г. Эмигрировал в 1974 г. Был чемпионом Израиля, в 1975 г. и чемпионом США в 1976-1977 гг. Автор ряда статей по шахматам в русскоязычной и англоязычной печати. В настоящее время живет в Нью-Йорке.

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ — (1894-1972). Родился в Москве. Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. Начал публиковаться как поэт в 1915 г. С 1923 г. жил в Париже. Постоянно сотрудничал в газете "Последние новости", журнале "Звено". В 1955 г. выпустил книгу "Одиночество и свобода", в 1967 г. — "Комментарии", а также сборник стихов "Единство". Как и В.Ф.Ходасевич объединял вокруг себя русскую литературную эмиграцию. Как писал философ Г.П.Федотов "к Ходасевичу тянулись старшие, молодежь шла за Адамовичем, зачарованная им".

ГРИГОРИЙ ПОЛЯК — родился в 1943 г. в Москве. По образованию инженер-строитель. Библиофил и знаток истории книги. В 1973 г. эмигрировал. В настоящее время живет в США. Здесь, в 1977 г. основал издательство "Серебряный век", которым и руководит по сей день. Издательством выпущено более 40 книг. Григорий Поляк занимается исследовательской работой, им был подготовлен ряд публикаций, одна из которых (В.Ф.Ходасевича) была напечатана в журнале "Время и мы", № 74.

Александр **Орлов**

ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Эта книга принадлежит одному из видных деятелей сталинского НКВД, но почти 30 лет она была неизвестна русскому читателю. Чудом уцелев, генерал Александр Орлов бежал в 1938 году в Соединенные Штаты и, оставаясь 15 лет неузнанным, прожил здесь до конца своих дней. Книга Орлова — это документальное свидетельство эпохи, раскрывающее самые глубокие тайны сталинской секретной полиции.

...КАК ГОТОВИЛОСЬ УБИЙСТВО КИРОВА...

...ВСТРЕЧА СТАЛИНА С НИКОЛАЕВЫМ...

...КАК БЫЛИ ВЫРВАНЫ ПРИЗНАНИЯ У ЗИНОВЬЕВА И КАМЕНЕВА...

...ИХ СДЕЛКА СО СТАЛИНЫМ В КРЕМЛЕ...

...ДОПРОСЫ И ПРИЗНАНИЯ ПЯТАКОВА, БУХАРИНА, РАДЕКА...

...ПОДРОБНОСТИ ГИБЕЛИ АЛЛИЛУЕВОЙ...

...ЯГОДА ПЕРЕД КАЗНЬЮ...

...ЕЖОВ. КАКИМ ОН БЫЛ...

...ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СТАЛИНА ПАУКЕР ОБ УТЕХАХ ВОЖДЯ...

Таковы лишь штрихи, лишь отдельные эпизоды документальной эпопеи Александра Орлова.

По свидетельству специалистов, ни одна из изданных до сих пор книг о советской тайной полиции не может сравниться с книгой Александра Орлова как по документальной точности излагаемых фактов, так и по захватывающему интересу, который она вызывает у читателей. Тот, кто открыл первую страницу этой книги, уже не сможет закрыть ее, не дочитав до конца этот зловещий детектив сталинской инквизиции.

Книга Орлова (350 стр.) иллюстрирована редкими фотографиями 30-х годов. Цена книги - 75 долларов. Пересылка - 1 доллар.

Заказы и чеки посылайте по адресу:

Time and We

475 Fifth ave, room 511-A

New York, New York 10017

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД

СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ

ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАБЕКОВА, АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ, И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД — ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ — ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.

КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА И СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ ВЫХОДИТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

Цена книги - 15 долларов. Пересылка - 1 доллар.

Заказы и чеки высылать по адресу:

Time and We

475 Fifth ave, room 511-A

New York, New York, 10017

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" — 1984

УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 43 доллара; для библиотек — 48 долларов; с целью экономической поддержки журнала — 50 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу главной редакции:

Time and We
475 Fifth Ave, suite 511-a, New York, New York 10017
Цена в розничной продаже — 8.50

Стоимость подписки в Израиле устанавливается израильским отделением журнала "Время и мы". Заказы и чеки высылать по адресу отделения: Иерусалим, Талпиот мизрах, 422/6 (зав. отделением Дора Штурман-Тиктина).

Подписка из Франции, Германии и других стран мира может осуществляться как через главную редакцию в Нью-Йорке, так и через представителей журнала.

При подписке в главной редакции чеки высылаются только в американских долларах (т.е. это должны быть чеки американских банков или иностранных банков, имеющих в Нью-Йорке отделения).

При подписке через представителей журнала (или его отделения) стоимость подписки:

— во Франции — 350 франков; для библиотек — 400; с целью экономической поддержки журнала 450 франков;

— в Германии — 115 немецких марок; для библиотек — 125; с целью экономической поддержки журнала — 140 марок.

Подписка авиапочтой — 86 долларов.

"ВРЕМЯ И МЫ" - 1984

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия . . . . . .

Имя . . . . . .

Адрес . . . . . .

Подписной период . . . . . .

Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы" на . . . . . год. Высылать с номера . . . . . .

Журнал высылать обычной /авиа/ почтой по адресу

Подпись . . . . . .

Примечание редакции: чек выписывается по-английски на **имя** журнала "Время и мы" /**Time and We**/.

Из Германии, Англии, Франции и других стран чеки могут высылаться либо непосредственно по адресу главной редакции, либо в адрес представителей журнала

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылается по адресу **"Time and We"**

475 FIFTH AVENUE, SUITE 511-A, NEW YORK. NEW YORK 10017. Tel. (212) 684-3014

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

MAIN OFFICE; 475 FIFTH AVENUE, SUITE 511-A, NEW YORK 10017, Tel. (212) 684-3014

Printed in Israel

OCR и вычитка — Давид Титиевский, февраль 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

На четвертой странице обложки:
Юваль Малер "Длинный экипаж", "Дерево", "Колеса"

Фото Андрея Назарова Ленарта Лейбошица (Lennart Leiboschitz)
Фото Саши Соколова - Copyright by Ardis Publishers